И. БАШКИРЦЕВ

ЖИЗНЬ ИЗМЯТАЯ

Мюнхен

И. БАШКИРЦЕВ

Жизнь измятая

Часть 1-я

МЮНХЕН
1963

Gesamtherstellung: I. Baschkirzew Buchdruckerei, 8 München-Allach,
Peter-Müller-Straße 43.

Printed in Germany

ГЛАВА I

Назойливо жужжала муха. Мешала спать. Иванчик, в полусне, попытался ее отогнать и... проснулся. Взгляд его скользнул по привычной обстановке детской и остановился на открытом окне, куда из глубины безоблачного, спокойного голубого неба, вливался поток солнечного света. И вместе с ним струилось в комнату разбудившее Иванчика жужжание. Внезапно присоединилось, как порыв урагана, шипение перешедшее в режущий уши свист. Небо внезапно стало серым, и сильный взрыв ударил по ушам. И, почти одновременно, комната наполнилась ворвавшимся с улицы страшным, душераздирающим криком.

Выпрыгнув из кроватки, испуганный, с замирающим сердцем Иванчик бросился к окну. На улице, в облаке пыли, во мгле, будто наступил вечер, метались люди... Мгла постепенно рассеивалась, и Иванчик увидел, как поднимался лежавший на земле человек и протирал, как пробудившийся, глаза, как какие-то люди несли на парусине с торчащими из нее палками что-то похожее на смятую в комок грязную одежду, из которой текла, проходя через парусину, темно-красная жижа... Стало опять светло и тихо, но в тишине повис ужас, наполнивший Иванчика.

— Маруся! Маруся! — закричал Иванчик. Иди сюда!

— Иду! — отозвалась Маруся, и Иванчик почувствовал облегчение.

Маруся, бледная, испуганная, прижала к себе мальчика, обвившего ее своими ручонками.

— Ничего, ничего... не бойся, уже прошло! — и она, дрожащими руками, принялась одевать Иванчика.

Маруся, простая, незаметная женщина, служившая полунянькой, полугувернанткой во многом заменяла Иванчику мать, и он очень любил ее. Мать зимой всегда уезжала в Париж, и Иванчик не видел ее долгие месяцы, а когда она бывала дома — не могла уделять ему много времени. Утром, когда Иванчик пил чай, она еще спала, а вечером то у нее были гости, то она сама была либо в гостях, либо в театре. А Маруся всегда была с Иванчиком.

Иванчик, когда его одевала Маруся, всегда шалил, а теперь ему было не до шалостей.

— Маруся!.. Что было на улице?..

— Аэроплан бомбу бросил.

— Какой аэроплан?

— Белый аэроплан... Ну ладно, молчи!..

— Почему белый?..

— Не белый, а белых аэроплан, и на красных бомбу бросил...

Одевшись, Иванчик выбежал на улицу и с жадным любопытством смотрел, куда упала бомба. На противоположной стороне улицы, где возле дома машиниста еще вчера стояла высокая развесистая шелковица, торчало что-то растерзанное, с обломанными и голыми, как осенью, ветвями, а под ним... яма. На месте этой ямы по утрам в воскресенья всегда стоял накрытый к чаю стол, а за ним — семья машиниста.

«А сегодня, — подумал Иванчик, — черная яма!»

— Иванчик! — позвала Маруся, — иди чай пить.

За чаем взрослые говорили только о случившемся.

—Ужасно! — сказала мать, — всех убило. Мальчика пополам разорвало, а девочка — без единой царапинки. Воздухом убило. Только мать осталась живой, как раз пошла в комнату за чайником. Да, может быть, лучше было бы ей со всеми погибнуть, чем такой ужас пережить.

— Промах, — сказал отец, — он по штабу красных бил, да промахнулся. Бывают несчастья!..

— По твоему — просто! Промах! А люди? .. Невинные люди погибли . . .

— Что ж делать? Война есть война.

После чая Иванчик пошел в сад. Обычно этот сад с несколькими посыпанными песком дорожками, разделявшими ряды кустов сирени, с большими зелеными качелями и игрушечной, в рост человека, ветряной мельницей превращался фантазией Иванчика во что-то всегда новое, всегда интересное. Качели? Да разве это качели? Не качели это, а пароход! Дорожки под сиренями? Не дорожки это, а дороги в дремучем лесу, по которым на коне, покрытом блестящей броней, едет рыцарь-Иванчик, готовый к совершению неслыханных подвигов, а мельница — не мельница, а башня замка. На этот раз Иванчик не мог превратиться ни в капитана, ни в рыцаря. В нем все еще дрожал страшный утренний крик. На улице появились вооруженные люди, были слышны выкрики: «Защищать ! Защищать Тихорецкую! До последней капли крови!»

«Почему защищать? почему до последней капли крови?» — подумал Иванчик и, как всегда, отправился за разрешением своих вопросов к Марусе.

— Маруся! Почему на улице кричат «защищать Тихорецкую до последней капли крови»?

— Наши идут, белые . . . — сказала Маруся и поспешила на кухню.

Неудовлетворенный, Иванчик опять ушел в сад и, вскарабкавшись на забор, глядел на улицу. Широченная, чуть ли не в сто метров, немощенная, с узкой полосой вьющейся по ней пыльной дороги, проходящей среди засохших комков грязи, улица теперь была почти пуста. Даже возле обезображенного взрывом дерева не было уже любопытных, и Иванчик хотел слезть с забора, но остановился увидев верхового.

«Кто такой? куда скачет? . . — подумал Иванчик.

Верховой остановился посреди улицы и его окружили люди.

«Да ведь это прапорщик Лесицкий», — узнал Иванчик и услышал как тот закричал:

— Не сдадим Тихорецкую! . . Будем защищать до последней капли крови!

«Ведь он «наш», а кричит «защищать» — подумал Иванчик. — Хоть он и у красных, а все-таки «наш». Папа говорит, что он только напоказ красный.

Лесицкий повернул коня и, раздвигая им людей, подъехал к «парадному», спрыгнул с седла и пошел в комнаты. Иванчик — за ним.

— Здравствуйте! Иван Львович, — сказал Лесицкий отцу, — наши-то под Тихорецкой! Красные хотят интендантство эвакуировать, а я ору: защищать Тихорецкую до последней капли крови! и они со мной орут. Дураки! Останется интендантство, поднесу его нашим. Хороший подарок будет!

— Да, — ответил отец, — какая там защита! Тихорецкая-то в котловине. А они окопы вырыли. Не окопы, а могилы.

— Конечно, могилы, — подтвердил Лесицкий, — а теперь в эти могилы лезут, защищать собираются . . . Ну, а пока что, побегу орать, чтобы интендантство осталось.

И довольный собой, попрощавшись, Лесицкий ушел.

Где-то далеко, что-то бухнуло, будто из дробовика выстрелили. Отец прислушался, сказал:

— Орудия стреляют . . . начинается . . .

На улице опять забегали люди, засновали по дворам.

— В окопы! в окопы! . . Выходи в окопы! . . — кричали они, собирая «защитников».

«Зачем они идут в окопы?!» — думал Иванчик глядя на вооружающихся рабочих, — «Папа говорит, что это не окопы, а могилы!»

Ушли, и на улице стало пусто. Иванчик побрел домой. В кабинете у окна стоял отец и смотрел, ждал. Тяжелого буханья уже не было, но что-то щелкало.

«Как орехи щелкают,» — подумал Иванчик, — «а вот, как швейная машина стучит».

Внезапно улица заполнилась людьми. Серые, они слились в общую массу, в которой нет лиц, и бежали, бежали. Да, не шли, а бежали. Пробежали передние, а дальше . . . уже не бежали, а топтались, толкали друг друга, стараясь пробиться вперед . . . Над толпой, в середине ее, несколько лошадиных голов и едва можно

было видеть, что лошади тянут орудие, которое, казалось, вот вот потонет в реке людских тел.

— Ваня, отойди от окна, — сказала отцу мама, — не дай Бог, кто в тебя выстрелит!

— Им сейчас не до меня... бегут... паника...

Толкучка, словно обрезанная, оборвалась, и на опустевшей улице осталось только несколько человек, идущих медленно, как будто им некуда спешить. В нескольких шагах за последним из них ехал всадник.

За всадником, в двух десятках шагов, шел человек в черной форме с револьвером в руке, а за ним, заняв всю улицу, с винтовками наперевес, как на параде, редкая цепочка четко марширующих солдат.

— Наши!.. — сказал отец и приник к окну.

Всадник поравнялся с оторвавшимся от давящейся впереди толпы человеком и ехал рядом с ним. Тот, в шинели в накидку, с винтовкой, висящей на плече прикладом вверх, шел рядом с верховым офицером и, казалось, так и должно быть. Офицер медленно, медленно поднял блестящую саблю и... сильно бросил ее вниз. Человек в шинели упал вниз лицом и странно закинул вверх каблуки сапог.

Из дома на углу выскочила толстая женщина и побежала, придерживая мешающие юбки, к пешему человеку в черном. Подбежала и начала что-то быстро, быстро говорить. Офицер в черном вдруг поднял револьвер, выстрелил... Женщина покачнулась, развела, как в изумленьи, руки, упала и затихла. Только ветер колыхал ее многоярусные юбки. Из-за цепочки выбежали несколько человек, тянувших за собой «Максим», вдруг попадали возле него, и в общий шум ворвалась четкая пулеметная очередь. Одна, другая и опять вскочили люди и потащили пулемет на другую улицу.

Все это видел Иванчик, как в кино. Все делалось так быстро, что едва можно было уследить.

Цепочка поравнялась с «парадным». Отец отошел от окна, взял из шкафа мундир с полковничьими погонами. В дверь сильно постучали. Одеваясь на ходу, отец пошел, сопровождаемый Иванчиком, открывать. Распахнул дверь. Перед ним стоял разрумяненный боем

юнкер с винтовкой в руке. При виде отца он, словно в нем желкнула какая-то пружина, вытянулся, опустил винтовку к ноге и выпалил:

— Здравия желаю, господин полковник! Есть в вашем дворе большевики?

— Нет! — ответил отец.

Юнкер повернулся, щелкнув каблуками, и кинулся вдогон цепочки, перемахнув через высокий забор.

Вот и прошли все. Улица опустела, только щелканье осталось, да время от времени, все дальше и дальше, треск пулемета.

В доме царило возбуждение. Наконец пришли! — казалось кричали лица и все ждали и готовились встретить дорогих гостей. Смущало только, что опять стали совсем близко стрелять.

В двери постучали, все бросились открывать. В комнаты влились возбужденные, запыленные и усталые военные, радостно здоровались, как старые знакомые. Вместе с ними в дом вошло напряженное движение. Принесли полевые телефоны, и они начали жужжать. Это жужжание прерывалось голосами кричащих что-то в телефонные трубки людей. В доме остановился штаб Кутепова.

— Почему стреляют? — спросила мать высокого офицера в старой шинели с нарисованными на плечах химическим карандашом погонами. — Неужели красные возвращаются?!

— Успокойтесь, — спокойно сказал он, — это казаки большевиков расстреливают.

— Расстреливают?! — изумленно-растерянно проговорила мать. — Как так расстреливают? без суда...

— В бою не разбираются. Некогда юридические тонкости соблюдать.

— Юридические тонкости?! — с возмущением начала мать, и вдруг, вспомнив, продолжила, — а вот бабу убили... это тоже без «тонкостей»?..

— Ах эту, — перебил офицер, — а знаете почему ее убили?

— Да тоже, наверное, потому, что некогда было разбираться!

— Нет! — жестко ответил офицер. — Потому что она думала, что с красным, который задержался, говорит. «Беги, беги товарищ! А то кадеты нагонят — убьют!» Так, по-вашему, офицеру в бою нужно было бы ей реверанс сделать?

Понемногу стрельба стихла, в столовой стали накрывать стол для ужина. Уже стали садиться за стол, как из кухни, с каким-то загадочным видом, прибежала кухарка Груша и зашептала что-то отцу.

«Что там такое?» — подумал Иванчик, видя поднимающегося из-за стола отца. — «Надо посмотреть!» и пошел за идущим с Грушей отцом.

В кабинета отца ждал Андрианов. Увидев отца он, кинулся к нему и, нервно озираясь, дрожащим голосом сказал:

— Спасите, Иван Львович! . . беда! . . Как наши пришли на вокзал, я к ним . . . да кто-то уже сказал . . . чуть чуть на месте не убили . . . Чудом вырвался! . .

— Да . . . дело скверное, — ответил отец, — как объяснить, что вы по нужде начальником передвижения войск были? . . Знаю, что не красный вы . . . да . . . Ну, ладно! Посмотрим. А пока, пойдем в столовую.

— Как в столовую? Да там Кутепов!

— А кому в голову придет, что со мной «красный»?

В столовой отец представил Андрианова, как своего родственника, посадил его за стол — прямо против Кутепова. И никому, конечно, не пришло в голову, что «родственник», — это тот самый Андрианов, которого ищут, чтобы расстрелять.

Теплый луч солнца разбудил Иванчика. В окно глядело голубое небо, и было так хорошо смотреть в его бездонную, спокойную глубину.

«Так хорошо, а вчера . . .» — подумал он, — а, может, все приснилось? . .

Выскочив из постели, Иванчик подбежал к окну.

«Нет не приснилось! . . Вон лежит баба . . а вон тот, кого зарубил офицер . . . Баба стала совсем толстая, а тот — серый как земля . . .» Иванчику стало страшно.

— Маруся! Маруся!

— Чего ты? Что еще?

— На улице мертвые...

— Ну и что ж, что мертвые?.. Я их живыми не сделаю!

— **А чего они лежат?** Почему не убрали?

— Почему почему?! Спроси Кутепова...

— Почему Кутепова?..

— Да потому... — и Маруся замолчала.

— Что «потому»?... — не унимался Иванчик.

— Он приказал, — рассерженно продожила Маруся, — для страху, чтобы большевики боялись.

Иванчик боялся выходить на улицу, где лежали убитые, и бродил по дому, глядя на снующих по комнатам военных. Мать налив стакан чаю понесла его в гостиную, где за письменным столом работал Кутепов. Он брал одну за другой бумаги из лежавшей перед ним стопки и что-то писал на них, через угол.

— Здравствуйте, генерал! Выпейте чаю!

Кутепов приподнялся, поблагодарил и, прихлебывая чай, продожал писать. Мать, через плечо Кутепова заглянула в бумаги, потом со страхом и изумлением на Кутепова, вся как-то сжалась и пошла прочь.

— Ваня! словно ей сдавило горло, обратилась она к отцу. — Ваня! Что он делает?!

— Кто?

— Кутепов...

— Что Кутепов? Да что это ты, будто тебя обухом хватили?

— Да он... пишет расстрелять!..

— Кого расстрелять?

— Не знаю... на всех бумажках...

— А, на бумажках... Ну что-ж, поднесли ему дела, вот и пишет.

— Да как же... ты подумай... на всех!..

— Ну и что-ж, что на всех? Значит нужно.

Иванчик глядел на взволнованную мать и, будто пытавшегося что-то оправдать отца и думал: «Кутепов писал «расстрелять на всех бумагах, улыбался и чай пил... Папа говорит «значит нужно». А разве это не страшно «расстрелять»? Как это он может? Значит ему не страшно! А мне было бы страшно».

За обедом офицеры рассказывали о своих боевых переживаниях. О том, как взяли Тихорецкую. Иванчику было интересно и немного страшно.

— Вот подошли мы, — говорил поручик Карпов, — подошли мы, глядим, а дурачье окопы в пшенице вырыло. Сидят и ничего не видят. Подползли мы, да гранатами, гранатами. Едва кто и выскочить успел, а тех, — как зайцев перебили.

В это время через столовую прошел, ни на кого не глядя, высокий, худой, в истрепанной выцветшей шинели с нарисованными на ней фиолетовым карандашом погонами, немолодой капитан с застывшим, как у загипнотизированного лицом.

— Смотрите, Наталья Павловна! — сказал матери Карпов. — Это знаменитый капитан Чернявский. У него вся шинель пулями продырявлена, а сам — без царапинки! Как заговоренный. Он до революции жил в Петрограде. Ничем не выделялся. Имел жену и дочь, очень любил их. Семьянин был прекрасный, такой семьянин, что за семьей и революции не заметил. Мы уже с красными бились, а Чернявский семейным уютом наслаждался. Вот и донаслаждался. Однажды ночью в его квартиру ворвались красногвардейцы-матросы, чтобы ликвиднуть «беляка». Увидев еще молодую жену его и красивую дочь, матросы передумали. Чернявского связали, на его глазах, в очередь, изнасиловали и жену, и дочь, потом убили, а его не тронули. Пусть помучается! Соседи развязали его и помогли скрыться. Вот с тех пор он и мстит. И как мстит! В бою, когда другие, наступая, старются использовать малейшее укрытие, капитан идет на врага во весь рост, смерти ищет, а она будто от него прячется. Кругом пули свистят — идет, не гнется. Вот, стреляют, стреляют в него большевики, а он идет. Не выдержат у кого-нибудь нервы, крикнет «заговоренный» — и бегут от него. И, странно, после каждого такого боя в его шинели новые пробоины, а он, цел. Действительно, как заговоренный!

В саду, в тени дерева, за небольшим столиком с пыхтящим на нем самоваром сидел отец и тучный, в серой черкеске, полковник Черкасов. Пили чай и о чем-то

спорили. Иванчик, услышав знакомое имя «Алешка», прислушался.

— Но позвольте, — говорил Черкасов, — ваш Алешка настоящий большевик, а вы его защищаете!

— Какой там большевик, — возразил отец. — Он просто дурак. Его маленького по голове палкой хватили.

Иванчик вспомнил, что Алешка, сын кучера, показывал ему патронные гильзы и хвалился, что этими патронами он в Батайске расстреливал офицеров. Тогда Иванчик не поверил. Казалось невозможным, чтобы Алешка, привычный и знакомый, мог стрелять в людей, таких же как папа, возле которого он родился и вырос.

Алешку не расстреляли, но, для поучения, выпороли шомполами.

На третий день после прихода кутеповцев все успокоилось и жизнь пошла обычным порядком. Правда, рассказывали о многих случаях расстрелов совершенно неповинных рабочих на глазах их семей, сразу же после боя. Сосед указывал на соседа, как на большевика, того казаки вытаскивали из дома и . . . ставили к стенке. Но теперь уже не стреляли.

Офицер контрразведки, со смехом, рассказал.

— Надоели они мне! Один на другого доносят, сосед на соседа. Вот я и распорядился: донесет Петров на Иванова, а Иванов на Петрова, так посадить обоих в разные комнаты, а когда наберется таких много — мне доложить. Доложили. Пришел я и велел, чтобы пороли один другого, Петров Иванова, а Иванов Петрова. Так и перепороли они друг друга. И смех, и грех! А пороли люто . . .

После обеда Иванчик глядел на пустую улицу и ждал, когда появится идущая с работы черная толпа рабочих Депо и Паровозных мастерских. Он часто видел эту замасленную, черную, но веселую реку рабочих и с интересом к ней приглядывался. Гудок уже прогудел и толпа вот-вот должна была вытечь из поперечной улицы. Вдруг вдали появился верховой и, рядом с ним, человек в белом. Верховой скакал, а человек в белом бежал рядом с ним. Вот они приблизились, почти по-

равнялись с Иванчиком, человек в белом вдруг остановился, верховой выстрелил на скаку в него раз и еще. Проскакал мимо. Человек в белом бился на земле, подпрыгивая всем телом со странно подвернутой к плечу головой. Вытекла черная река рабочих, а на балкон вышел, привлеченный выстрелами, Кутепов. Взглянув на человека в белом, уже окружаемого рабочими, Кутепов, обращаясь к своему адъютанту, бросил — «добить!»

Адъютант сошел со ступенек балкона и, вытягивая на ходу из деревянной кобуры, блеснувший на солнце черным воронением маузер, пошел к лежащему. Раздвинул рабочих и, как-то закостенев и сжавшись, приставил к голове раненого револьвер, и отвернулся... сухо треснуло и человек в белом вздрогнул, напрягся, странно удлинился и затих. Адъютант, суровый и побледневший, пошел к Кутепову, спокойно глядевшему и на него, и на черную толпу рабочих возле убитого.

Верховой, сделав круг, подъехал к балкону и спрыгнул с коня. Это была Ольга, женщина-прапорщик из Батальона смерти.

После взятия красными Зимнего дворца части его защитников удалось бежать на юг. В Тихорецкой несколько человек из них застряло. Там тогда было своеобразное междуцарствие — и белые и большевики. Офицеры ходили с оружием и в погонах, а на станции властвовали большевики, главным образом из проходящих частей 39-й дивизии. Они были проходом, спешили по домам, и только иногда устраивали расправы с «белякми». Офицерам появляться на станции было опасно. Одного там схватили, избили, прибили гвоздями к плечам погоны и убили. Среди застрявших в Тихорецкой защитников Зимнего было трое мужчин и три женщины — все прапорщики. Отец, привел их домой, познакомил с матерью и они столовались у ней. Женщины — Ольга, Татьяна и Мария — жили на станции в вагоне, на запасном пути. А мужчины — Лесицкий, Павлов и Комарницкий, нашли квартиры в селении.

Особенно запечатлелся в памяти Иванчика прапорщик Комарницкий. Молодой, красивый, типичный поляк-аристократ, он резко отличался от своих товари-

щей, держался в стороне и не принимал участия в разговорах, ведшихся главным образом Лесицким, о возможности, поступив на службу к «красным», ждать «своих» и быть им полезным. Комарницкий не был способен ни на компромиссы, ни на сделки с совестью.

Однажды, после обеда, Комарницкий попросил завести грамофон и поставить его любимую пластинку. Сидел, слушал и, было заметно, что что-то гнетет его. Внезапно поднялся и пошел к дверям, остановился, хотел что-то сказать, махнул безнадежно рукой и ушел.

— Что с Комарницким? — сказала мать. — Всегда такой вежливый, а сегодня не попрощавшись ушел . . .

Зазвонил телефон. Отец пошел и снял трубку.

— Наташа! Комарницкий застрелился!!

— Что? . . Застрелился! Да он только что был здесь.

Быстро собравшись, отец ушел. Вернувшись, он рассказал, что застал Комарницкого в кресле мертвым, на полу лежал револьвер, а в мундире Комарницкого зияла обгоревшая пулевая дыра.

В день похорон Комарницкого в Тихорецкую пришла дисциплинированная казачья часть и похороны были, как полагалось по армейским правилам. Отец, как старший чином, командовал. Особенно запомнилось Иванчику, как по команде отца блеснули и как одна поднялись вверх казачьи шашки, замерли и, по второй команде, опять блеснув, исчезли в ножнах.

На станции к прапорщицам приставали проходящие солдаты. Все труднее и труднее было от них отделываться. Наконец прапорщицы не выдержали и, запершись в вагоне, стрелялись по очереди из одногоногана. Мария, первой и наповал, Татьяна тяжело ранила себя, а у Ольги ноган дал осечку.

Теперь Ольга была здесь. Раскрасневшаяся, в вылинявшей защитной гимнастерке, в такой же выцветшей фуражке, из-под которой выбивались светло-русые волосы, она подошла к матери и протянула руку.

— С убийцами не здороваюсь! — отчеканила мать, заложив руки за спину.

Слова прозвучали в тишине, как обвинение не только Ольги, но и Кутепова, и адьютанта, и окружающих

офицеров. И все это почувствовали. Кутепов распек Ольгу, но так, — для успокоения матери.

Оказалось, что Ольга, едучи по полю, увидела в пшенице прячущегося человека. Решила, что это большевик, поймала его и погнала в Тихорецкую, пригрозив, что застрелит если он остановится. Как не старался несчастный доказать ей, что он не большевик, Ольга не поверила. Цепляясь за жизнь он бежал рядом с лошадью. Сил не хватило и Ольга разрешила ему на минуту остановиться и раздеться, чтобы было легче бежать, и остался человек в одном белом белье. Так добежал до штаба и стал. Ольга выстрелила. Все просто и ясно. Но потом узнали, что убитый действительно не был большевиком. Беженец из Польши, он, перепуганный начавшимся боем, бежал от вновь настигшего его ужаса войны и . . . нашел смерть.

ГЛАВА II

Отца Иванчика назначили начальником Жандармского управления всей занятой Добровольческой армией территории. Еще до революции Иванчик не раз слышал как ругали жандармов: «жандарм-пугало», «жандарм-изверг» и т. д. Папа говорил: «Не Жандармский корпус плох, а плохи люди в нем. Нужно идти в жандармы и исправлять то, что такие люди сделали. Для меня не существует политических преступников из-за их убеждений. Пока не нарушил закон, не совершил настоящее преступление — не преступник. А за убеждения наказывать нельзя!»

Иванчик знал, что отца, еще при царе, не раз вызывали в Москву и там сажали на гауптвахту. Тогда мать тоже ехала в Москву и через несколько дней возвра-

щалась домой с отцом. У нее, при дворе, были очень влиятельные родственники и знакомые. Достаточно было какой-нибудь «Марии Алексеевне» позвонить шефу жандармов и дать ему понять, что она — «Мария Алексеевна» — недовольна тем, что мужа Наталии Павловны за какую-то безделку посадили на гауптвахту, чтобы — «что с бабами сделаешь!» — отца отпустили с миром.

«Безделка» обычно заключалась в том, что отец получив указание произвести аресты революционно настроенных рабочих, оставаясь верным своему «за убеждения наказывать нельзя», совершал днем прогулку, посещал жен тех, кого нужно было арестовать, и предупреждал их. Конечно, когда он ночью, в сопровождении наряда жандармов, появлялся на квартирах политических, этих дома не было. Следовал рапорт, что такие-то и такие-то скрылись в неизвестном направлении и... очередная гауптвахта. Начальство считало отца досадным чудаком и переводило его во все более и более провинциальные места, пока он не оказался в маленькой Тихорецкой, где и захватила его революция. А рабочие знали и ценили «своего полковника».

После того, как бывший дежурный по станции, сделанный против его воли красными начальником передвижения войск, Андрианов — поужинал за одним столом с Кутеповым, отец отвел его к знакомой шляпнице и спрятал там. Теперь, когда первая горячка прошла, нужно было решить судьбу Андрианова. И отец решил.

— Чорт знает, что такое! — сказал он матери. — Дождался человек своих, а его «красным» заклеймили. Вот Лесицкий тоже ждал, интендантство для своих сохранил, а его в тюрьму запрятали. «Мундир осквернил», видите ли?! А Андрианову и похуже будет!

— Нужно что-то сделать, — сказала мать, — нельзя же человеку пропадать!

— Сделать-то нужно..., а что?.. что «начальником» был — факт! Попробуй докажи этим, что и «начальником» был, и не «красный»!.. Придется к красным переправить...

И Андрианова переправили к красным.

Штаб Кутепова, вместе с продолжающими наступление частями, ушел. Жизнь начала входит в обычную, мирную колею, но в глубине еще бурлило.

— Наташа! — раздраженно сказал отец придя со службы, — сегодня остановил на мосту казаков. Вели сорок человек на расстрел. Все наши рабочие. Вернул. Разобрался, в чем дело, и, оказывается, только двое с политикой дело имели. Кроме них всех отпустил, а их посадил, до разбора. Если и дальше будут людей, так, без разбора, стрелять, все население красным сделается!

Фронт, с каждым днем, удалялся, а тыл входил в свои права. Вместо запыленных, в истасканной форме боевых офицеров, стали появляться новые — тыловые, чистенькие внешне и грязненькие изнутри. Эти организовывали уже не боевые успехи, а успехи личные. В гостиной, где раньше был штаб Кутепова, поселился жандармский ротмистр Виктор Владимирович. Дома он был весел, хорошо играл на мандолине и понравился Иванчику, назвавшему его «дядей Витей». Дядя Витя угощал Иванчика кишмишем. Иванчик ел и не знал, что этот кишмиш тоже «организованный» из проходящих поездов. Другие «организовывали» дела и покрупней. С этими «организаторами» боролся отец. Но, как говорят, «один в поле не воин» и отцу пришлось в этом убедиться.

Однажды пришел штабной капитан и спросил отца. Отец вышел к нему. Стоя «вольно» капитан начал читать приказ из штаба Деникина о лишении отца должности, чина, и орденов за «большевизм».

— Капитан, — оборвал отец, — прежде всего станьте, как полагается!

Капитан стал.

— И передайте Романовскому, что должность я получил от него и он может ее взять, а чины и ордена ни он, ни Деникин мне не давали и лишить их меня не могут! Можете идти!

— Вот твои идеи... «идейные — не преступники!» Доносился с ними, пока сам в большевики попал, — волновалась мать, — и без места остался — за большевизм!

— Ах, брось Наташа! Не из-за идей это . . .

— Как не из-за идей? . . Из-за чего же? . .

— Из-за примусов.

— При-му-сов?! Каких примусов? Что ты . . .

— Ничего! Из-за обыкновенных, медных примусов. В Кавказской ротмистр Плонь отцепил от эшелона вагон с примусами. Примусы продал, прибыль поделил. Узнал я, составил протокол и не успел еще делу настоящий ход дать, как узнал, что в дележке замешаны крупные лица. А Плоню это обстоятельство смелости придало. Появился у меня и потребовал, понимаешь Наташа, потребовал, чтобы я прекратил дело. Не будет, мол, дело прекращено, тогда и вам не сдобровать, так и сказал, подлец! Слышала ты когда нибудь что либо подобное? Я, конечно, Пловя выгнал и делу ход дал. А теперь, сама видишь, его сверху затормозили, а мне большевизм приписали. Это проще, чем о примусах вспоминать!

Подошло открытие сезона охоты. Отцу не надо было ходить на службу и это радовало Иванчика, так как можно было не только в воскресенье, но и в будень идти на охоту. Тщательно, с любовью наполнены заряженными патронами патронташи, пахнущие кожей, ружейным маслом и еще чем-то специфически охотничьим. Вытерты и вычищены ружья. Все приготовлено и — завтра на охоту.

Иванчику не спалось. Все думал об охоте. Вспоминал как папа первый раз дал ему настоящее ружье. С шести лет он получил от отца «монтекристо» — малокалиберную винтовку, и научился хорошо стрелять по неподвижным целям, но попасть пулей в подвижную — он не мог. Однажды поездом поехали на охоту к дорожному мастеру разъезда «Шохры». Встретила их симпатичная и гостеприимная жена мастера, а вскоре подошел и он сам. Хозяйка накрыла на стол, принесла простую, но как раз поэтому показавшуюся Иванчику особенно вкусной, пищу. Дорожный мастер рассказал, где больше уток и куда, значит, нужно идти на зорю. Закусив, надели патронташи, сумки, взяли ружья и пошли. Папа с дробовиком, Иванчик с «монтакристо».

На болоте Иванчик забрался в камыш, глядел на расстилавшуюся перед ним зеленую гладь плеса с торчавшими из нее головками лягушек и ждал, ждал — когда прилетит та утка, которую он обязательно убьет на лету. Вот, далеко, на горизонте появилась черная точка. Летит! .. Ближе . . . ближе . . . Вот уже виден силуэт утки, видно как она, закруглив крылья, снижается прямо на Иванчика. Сердце его готово было выскочить из груди. Взять на мушку, выпередить, нажать на спуск — дело мгновения, но утка не упала, со свистом пронеслась над Иванчиком, вдруг взмыла вверх, сжалась в перекувырнувшийся комок и, под звук папиного выстрела, упала. «Опять не попал» — досадывал Иванчик. — «Папе хорошо! У него дробовик!»

Солнце уже зашло. Легкая синева начинала окутывать болото. Утки больше не летели, только лягушки тревожили тишину. Вот одна, громадная, надуваясь как пузырь, высунула голову в трех шагах от Иванчика. Рассерженный промахом по утке, Иванчик выместил досаду — прицелился и выстрелил. Под шлепок пули, лягушка завертелась и потонула.

Вечером, после ужина, папа растелил на полу принесенные женой дорожного мастера одеяла, уложил Иванчика и сам лег рядом. В домике все затихло. Только, как-то особенно громко и четко тикали часы-ходики. В полусвете горевшей у образа лампадки все стало необычным и таинственным. Висевшее в углу платье принимало облик человека. Иванчику стало страшно, но спокойное дыхание отца, лежавшего рядом, успокаивало его.

«Нет, не засну, — подумал Иванчик, — совсем не спится» — и уснул.

— Вставай, вставай! — будил его папа. — Пора на зорю.

Уток не было, и ни папа, ни Иванчик ничего не убили. Солнце уже поднялось высоко и рассеяло стлавшийся над болотом туман. Стало жарко. Папа вышел на берег и позвал Иванчика.

— Смотри, там на дереве сидит воробей. Бери мое ружье и бей, — сказал он подавая Иванчику безкур-

ковку. — Только смотри, хорошо прижми к плечу, а то отдача свалит!

Взяв заветное ружье и не помня себя от радости, Иванчик точно, точно, как из винтовки, выцелил и нажал курок. Оглушительный выстрел, толчок и, серенький комочек упал с дерева.

«Это ничего, что болит плечо и звенит в ушах! Главное, что я не упал и теперь папа знает, что я могу и из дробовика стрелять!» — подумал Иванчик. А папа о чем-то думал.

— Смотри, — сказал он вдруг, — вот летят вороны. Если попадешь на лету, получишь настоящее ружье.

Опять прижался Иванчик щекой к прикладу, тяжелой для него, папиной безкурковки. Его взгляд скользнул по широкой прицельной планке, через мушку, к цели, теперь уже летящей и кажущейся недосягаемой.

«Что если промахнусь? Нет! Нельзя промахнуться!»

Черная ворона «сидит» на мушке. Точно выпередив Иванчик выстрелил и, сломавшись в воздухе, ворона, крутясь полетела вниз.

С того времени Иванчик ходил на охоту с настоящим «Зауэр три кольца». Правда, папа не давал ему патронташ с патронами, а каждый раз сам заряжал его ружье. Теперь Иванчику уже восемь лет и он думал, что папа даст ему и патронташ.

«Завтра убью утку, да не одну, а сразу две, дуплетом, из обоих стволов. Вот папа удивится!» — подумал Иванчик и хотел думать и дальше о своих завтрашних успехах, но . . .

— Вставай, вставай! — разбудил его отец.

Быстро позавтракав, Иванчик с раздражением смотрел на папу и дядю Витю, таких медлительных, как ему казалось, и торопил их. Наконец все готово. Иванчик одел ягдташ и выжидая поглядел на отца. Тот заметил, улыбнулся и сказал:

— Бери патронташ!

О, как он был горд. Сегодня он стал настоящим охотником.

Нетерпеливо метавшийся Бой, красный ирландский сетер, выскочил впереди всех в открытую дверь и заметался по улице, то и дело глядя на охотников и

словно призывая их следовать за собой. Папа был одет в старые потрепанные штаны, такой же китель, а на ногах — старые дырявые ботинки. Он смеялся над «городскими» охотниками, идущими на охоту в новеньких охотничьих костюмах и говорил, что такие ничего не убивают, а дичь свою покупают. Дядя Витя не имел подобного папиному охотничьего убора и Иванчик смотрел с сожалением на его блестящие новенькие козловые сапоги и белые галифе.

Вот уже видна вьющаяся по степи полоса зеленого камыша, — Козловая балка. О ней ходило много рассказов. Говорили, что в восемнадцатом году на ней расстреливали офицеров и даже тогда появилось выражение, когда хотели сказать что кого-нибудь расстреляли, «отправили на Козловую балку».

Был жаркий летний день. Под жгучими лучами солнца земля струила колыхавшийся волнами воздух. Все живое спряталось в тень. Было тихо и мирно. Эта тишина успокаивала и, казалось, что все что рассказывали о расстрелах на Козловой балке, — выдумки.

— Иванчик, — сказал папа, — я с Виктором Владимировичем пойду по другой стороне, а ты иди наравне с нами и, смотри, не забегай вперед.

Папа и дядя Витя скрылись за камышем. Иванчика от них отделяли какие-нибудь двадцать шагов. Он хорошо слышал, как они разговаривали и как дядя Витя поощрял к поискам уток, покрикивая, шумящего в середине камыша Боя. Потихоньку Иванчик начал звать собаку к себе. Он, несмотря на папино «не забегай», решил вызвать Боя и первым добраться до «круглого плеса», где, наверное, должен был быть утиный выводок.

— Бой! .. Сюда! — почти шопотом звал Иванчик и, наконец, увидел, как задвигались возле него верхушки камыша и появился, фыркая и разбрасывая во все стороны брызги воды, Бой. Он, казалось, тоже знал, чего хотел Иванчик и тоже хотел скорее вперед. Теперь уже Иванчик не боялся, что Бой раньше его добежит до плеса и распугает уток. Вот и плес, всплеск кинувшегося в воду Боя, кряканье подымающихся уток. Иванчик вскинул ружье. Почти одновременно прогремели два выстрела и одна утка описав дугу упала в траву

противоположного берега. Бой, при звуках выстрелов, заметался по берегу, кинулся искать в камыше возле Иванчика и, как тот не старался, Бой не мог понять, что утка на другом берегу.

«Вот досада! — думал Иванчик. «Убил, а взять не могу. Хоть бы скорее папа подошел!»

Вот и папа с дядей Витей, запыхавшиеся от бега и сердитые. Не слушая укоры, Иванчик, захлебываясь от нетерпения, кричал:

— Упала, упала! На вашем берегу. Зовите Боя!

— Ну, слава Богу, хоть утку убил, — примирился отец и позвал Боя. Собака зачуяла, раздвинула носом траву и, к радости Иванчика, нашла утку. Дядя Витя торжественно, словно это был его трофей, поднял высоко, держа за ноги, убитую птицу. Потом, с небрежным видом, опустил утку и, слегка ударив свисающей головой ее по каблуку своего сапога, отбросил ее в сторону. Утка, внезапно захлопала крыльями, бросилась в воду прямо между стоявшими на разных берегах охотниками и ушла в камыш. Иванчик чуть не плакал, да и заплакал бы, если б не страх, что его перестанут считать настоящим охотником. А папа и дядя Витя смеялись.

Идти дальше по балке не было смысла и поэтому решили идти в поле, искать перепелов. Папа и дядя Витя перешли через балку к Иванчику и все трое, рассыпавшись цепочкой, пошли вдоль берега. Перепелов не было и, постепенно, взрослые отошли дальше от балки, а Иванчик, надеясь все-таки выгнать утку, шел у самого камыша. Вдруг, в камыше что-то зашуршало. «Утки!» — подумал Иванчик, и двинулся к камышу. Но шорох затих и, почти одновременно, из камыша грянул сухой винтовочный выстрел. Потом опять шорох, и тишина.

Папа и дядя Витя пригнувшись бежали к камышу. Было тихо, и казалось невероятным, что только что кто-то стрелял в охотников. Не думая об опасности, став в своем воображении Шерлоком Холмсом, Иванчик, с ружьем на перевес, пробирался в камыш. Вот протоптанная дорожка. Дальше, среди поблескивающей между кустами камыша воды, намощенное сухое место, а возле него, из воды торчит коричневый приклад винтовки и — никого.

Папа вытащил облипшую грязью тяжелую пехотную винтовку. Патронов в ней не было. Стрелка искать не стали. Было ясно, что кто-то, скрывавшийся в камыше — зеленый или красный — хотел последним патроном подстрелить «золотопогонника». Иванчик чувствовал себя героем и с торжеством тащил трофейное ружье. Домой возвращались, когда вечерело. Перед самой Тихорецкой был став наполненный вонючей, смешанной с нефтью и отбросами из сточных канав завода, водой. И только поравнялись со ставом, откуда-то, свистя крыльями, вылетела утка. Дядя Витя выстрелил, и утка, разбрызгивая вонючую воду, шлепнулась в став. Дядя Витя — за ней. Взбаламученная им вода засмердела еще сильней, а когда дядя Витя вылез со своим трофеем, смрад стал нестерпимым. Папа и Иванчик, зажали носы и отошли в сторону. Дошли до Тихорецкой. Иванчик злорадствовал, видя как отворачиваются от дяди Вити встречные и зажимают носы. Ведь дядя Витя упустил его утку. А теперь, вот, наказан.

С тех пор как папа не служил, Иванчик все чаще и чаще слышал разговоры о том, что жить нечем, надо что-то продать, вообще, надо добыть средства к жизни. Что-то продали и мама решила поехать в Царицын, где, говорили, все дешевле. Отец не пускал мать, говорил, что в Царицине неспокойно, что генерал Покровский там чорт знает что делает, что на станцию приходят оттуда страшные поезда, на фонарных крюках которых болтаются повешенные попарно люди. Мама не верила, спорила и говорила, что такого не может быть и, наконец, все же уехала.

Настал день, когда мать должна была возвратиться. Иванчик ждал ее с нетерпением, вспоминая какая радостная и красивая возвращалась она раньше из Парижа, и какие интересные подарки привозила ему. Раз привезла она ему маленькую куклу, которая могла ходить, если ее завести ключиком и поставить на пол. Тогда взрослые долго рассматривали куклу и пускали ее ходить, так долго, что Иванчику стало скучно и он очень обрадовался, когда взрослые, наконец, ушли. Его интересовало устройство куклы и, едва закрылась дверь за взрослыми, Иванчик раздел куклу, взрезал

ей живот и увидел какую-то пружинку, колесико да свинцовый грузик. Все это — обычные и неинтересные вещи. Кукла перестала интересовать Иванчика и он бросил ее в ящик с обломками. Опять кто-то пришел, и мама захотела показать гостю ходящую куклу. Когда Иванчик принес ей изуродованные обломки, она сильно рассердилась.

Мать приехала и не привезла ничего интересного. Да и сама была совсем не такая, как из Парижа. Не веселая и шикарная, а измученная, бледная, растерянная.

— Ах, почему я тебя не послушалась, — сказала она отцу. — В поезде давка, места не получишь! Чуть ли не все время стоять пришлось, а приехала, такого насмотрелась, что лучше и не вспоминать. Вышла из вокзала на площадь и думаю, на чем и как ехать на базар. Смотрю два казака с какими-то двумя парнями возле телеграфного столба стоят. Казак говорит «лезь!» Один и полез. Смотрю и думаю, наверное будут провода ремонтировать. Только почему с вооруженными казаками? Долез парень до изоляторов, стал к ним веревку привязывать, а другой конец ее у него на шее. Я смотрю и ничего худого не предполагаю, просто от скуки поглядываю, когда, слышу, кричит казак «прыгай!» И парень прыгнул . . . прыгнул и повис. Я, сразу, ничего не поняла, а как увидела, что он в судороге вертится, сама не знаю, как очутилась на земле. Сижу и вижу только носки своих ботинок. Казалось весь мир в этих носках, а если отведу от них глаза, увижу страшное. Не знаю, как добралась опять до вокзала. Все боялась смотреть. Казалось, что везде повешенные. Дождалась поезда и уехала ни с чем. А в поезде все твои рассказы вспоминала и боялась, что и на нашем поезде повешенные висят.

— Да, — процедил отец, — если такие сумасшедшие, как генерал Покровский, и дальше будут командовать, то и мы большевиками станем. Досадно, что ничего сделать нельзя. Губят такие устрашители все дело. Народ против себя восстанавливают, а хотят с этим народом в Москву, на белом коне, въехать.

Иванчик долго раздумывал над маминым рассказом. В его голове никак не укладывалось, как может быть,

чтобы человек сам лез на столб и вешался. Он, Иванчик, отнял бы у казака винтовку и, если и умер бы, то не зря. А то сам лезет на столб, сам вешается! А Покровский? Не может быть, чтобы генерал был вешателем! Таким устаришителем, что, как говорит папа, и нас большевиками сделает. Да, может быть, это и не Покровский приказал. Может быть это казаки сами делают? Тут вспомнил он, как Кутепов подписывал приказы о расстрелах, когда мама принесла ему чай и, подумал, что может быть все-таки Покровский.

ГЛАВА III

Белые отступали. Иванчик знал об этом из разговоров, которые велись дома. Папа сказал, что красные уже взяли Ростов. Во дворе расположилась казачья сотня. Это отступающие донцы. Иванчик много слышал о подвигах донских казаков, герое Кузьме Крючкове. Но эти были не такие. Лошади у них измученные, седла ободранные, пик вовсе не видно, да и казаки сами словно после болезни. Разочаровавшись в казаках Иванчик ушел в комнаты. Из окна он увидел подъезжающую к дому кубанскую казачью сотню. Подъехав к колодцу кубанцы спешились и принялись поить коней, а их офицеры пошли к дому. На балконе папа разговаривал с пившими там чай офицерами донцов, к ним присоединились и офицеры кубанцев. Вдруг со двора донесся шум и крики. Несколько офицеров пошло туда, — Иванчик за ними. Во дворе рубились шашками кубанцы и донцы. С трудом удалось подошедшим офицерам развести дерущихся. Кубанцев, их офицеры построили и увели.

— Вот, говорил донской офицер отцу, — сначала наши биться не хотели, все ждали, когда красные освобо-

дители придут. Дождались, попробовали «счастье и свободу» принесенные красными, а теперь, как черти рвутся в бой. А кубанцы еще не попробовали, ждут «своих». Фронт бросают! Вот и сцепились они. Беда! . .

На улице было необычайное оживление. То и дело проходили воинские части. Полз слух, что красные уже под Тихорецкой, но идущие с частями офицеры, на вопросы отца, как-то особенно бодро отвечали : «Ничего страшного! Если какая часть прорвалась — прогоним!» Иванчик думал: «Конечно прогонят! Не будут же офицеры врать!» А отец с сомнением покачивал головой.

В столовой капитан Белоусов уговаривал папу уехать.

— Неровен час, займут красные Тихорецкую, что будет с вами?

— Да ничего! — ответил отец. — Я никому плохого не сделал, чего же мне бояться?

— Смотрите, Иван Львович! Собирайтесь лучше, пока не поздно . . . ну, а мне пора в часть. Досвиданья!

Вечером Тихорецкая затихла. Будто притаилась в ожиданьи. Не было больше видно воинских частей и только в нескольких местах горели большие костры. «Как на охоте ночью». — подумал Иванчик и пошел спать. Утром его разбудила необычайная тишина. Будто все притаились, ожидая чего-то, что нависло как страшная угроза. Иванчик вышел на улицу. В утреннем тумане февральского дня никого не было видно, только напротив, где вчера горел костер, лежала черная груда. Подойдя к ней Иванчик увидел не груду золы, а кучу переплевшихся между собой винтовочных стволов, скрученных и поведенных огнем. Значит, винтовки вчера жгли! Зачем же жечь? Чем же красных прогонять? Эти мысли заняли Иванчика и он не заметил, как подъехали к нему два всадника. Они ехали медленно, непрерывно оглядывались по сторонам, словно боясь и ища чего-то. На шинялях их не было погон, а, это поразило Иванчика, погоны связкой, как скальпы у индейцев, висели на их седлах. К всадникам подбежала баба, те что-то спросили, повернули коней и ускакали. И, опять никого не стало.

Иванчик побежал домой. Отец хмурый ходил по комнате, то и дело поглядывая в окно. Тишину разорвал, сопровождающийся каким-то лязгом, орудийный выстрел. И, опять тишина.

— Наташа! — сказал отец. — Наш броневик выстрелил. Это последний салют... теперь надо ждать красных.

Иванчик опять вышел на улицу и старался рассмотреть что-то надвигающееся из тумана. Вот движется какая-то черная масса. Колышется и медленно надвигается. Вот видно что-то острое, целый лес каких-то торчащих вверх острых предметов. Ближе, ближе... Видны первые всадники, а острое — это шапки на них и, наконец, словно разорвав туман, улицу заполнила кавалерия. «Да это красные!» — подумал Иванчик.

Из домов повыбегали бабы и бросились к всадникам. Теперь они, опять, встречали своих. Не страх, а радость звучала в их голосах. Тащили всякую снедь и протягивали ее бойцам. На углу, как раз возле кучи сгоревших винтовок, передние колоны остановились. На кучу вылез высокий, переплетенный ремнями, человек в серой шинели и такой же, напоминающей шлем витязя, шапке. Его окружил народ.

— Товарищи! — крикнул он, высоким, чеканящим буквы и одновременно поющим голосом. — Кончилось для вас царство золотопогонников! Да здравствует власть рабочих и крестьян! Белые бегут перед силой народа. Недалек день, когда победоносная армия рабочих и крестьян сбросит в море последние остатки их банд. Наступит счастливое время воплощения в жизнь того, за что отдали свои жизни ваши отцы, братья и сестры, — свободы, равенства и братства...

Вид окружающих его красных заинтересовал Иванчика и он перестал слушать оратора, занявшись разглядыванием чужих ему людей. А они были такие же, как и солдаты белых. Те же русские лица, усталые и запыленные, только на них, вместо обреченности, была гордая уверенность. Не было на шинелях погон — погоны висели на седлах.

Маруся увела Иванчика в комнаты, где всё, казалось, затихло в ожидании страшного. Но время шло и

ничего не случилось. Митинг окончился, люди разошлись и вновь все стало — как всегда. Даже в завтрак загудел гудок в Паровозных мастерских, призывая на работу.

В обед во двор пришли красные. Нашли кучера и велели ему вести их в конюшню. Толстый, одетый в белую вышитую красным косоворотку, подпоясанную ниже свисающего живота плетенным шнуром с кистями, синие шаровары напущенные на лакированные сапоги, кучер Николай повел пришельцев.

Этот Николай прослужил у отца почти всю свою жизнь. Сначала был денщиком, потом остался кучером и постоянным спутником, почти товарищем, отца на охоте с гончими собаками. Николай очень высоко ценил себя и никогда не говорил иначе, как: «Мы, с полковником».

Пришедшие начали седлать рысака. Напрасно Николай пытался отговорить их говоря, что рысак под седлом не ходил, его не послушались, вероятно подумав, что толстый кучер отстаивает интересы своего хозяина.

— Папа, папа! — закричал Иванчик, прибежав к отцу. — Там рысака берут!

— Пусть берут, — обреченно сказал отец, — они хозяева.

Между тем пришельцы вывели на улицу красивую, гнедую, нервно танцующую под непривычным седлом, лошадь. Рысак шарахался в стороны от чужих людей, вздрагивая мускулистым телом. Какой-то человек в серой черкеске вскочил в седло. Остальные расступились и лошадь, медленно, медленно, загнув в сторону гордо поднятую голову, боком пошла вперед. Всадник натянул поводья, поднял плеть и . . . бешенным броском скинув всадника, лошадь понеслась по улице волоча за собой, зацепившегося ногой в стремени, человека. Вот он оторвался от лошади и остался лежать измятым комком на черных кочках, а лошадь, с болтающимся в стремени сапогом, сделав круг, подбежала к крыльцу и остановилась. Улица заполнилась, идущими с работы, рабочими. Несколько красных тащили убитого наездника, остальные что-то кричали обступившим их рабочим.

Наконец, рабочие оттеснили красных в сторону от лошади и повели ее во двор.

— Здравствуйте, Иван Львович! — обратился к отцу пожилой рабочий. — Мы рысака в конюшню поставили. Это проходящая часть наделала, а нас вам нечего бояться. Никто вас не тронет. Ведь власть-то теперь наша, рабочая!

Отец поблагодарил, и рабочие ушли.

Прошло несколько дней. Мама сама готовила на кухне, а прислуга или гуляла, или бегала на митинги.

— Смешно, — говорила мама, — но ничего не сделаешь. «Каждая кухарка должна уметь управлять государством».

Однажды пришел высокий, с сидящей наискось на лбу матроске с лентами, настоящий матрос. Осмотрев квартиру он сказал, что в гостинной поместится Подвойский. По команде матроса прислуга вдруг задвигалась, готовя комнату для «правой руки» самого Троцкого. Подвойский пришел незаметно. Это был типичный интеллигент, сухой, с козлиной бородкой и в сером штатском костюме. Ничего большевистского, такого как рассказывали, во внешности его не было. Говорил и вел он себя, как гость. Только присутствие высоченного телохранителя-матроса, с маузером на боку, напоминало, что гость он необычный.

Подвойский охотно и подолгу, сидя за чашкой чая, беседовал с отцом и матерью. Ему, старому революционеру, было хорошо известно прошлое отца, гауптвахты — за невыполнение приказов, и его авторитет среди рабочих. Однажды, когда Подвойский рассказывал о будущем рае при коммунизме, мать сказала:

— Но, ведь, люди у нас обыкновенные, а не какие-то выдуманные идеалисты. Они просто жить хотят, а не коммунизм строить.

— Ничего! — воскликнул Подвойский, и весь напрягшись, став вдруг похожим на чорта, продолжил, — по-до-жди-те! Мы им животы подтянем, а потом бросим обглоданную кость, так они, как собаки, на нее кинутся!

«Как собаки, на обглоданную кость, кинутся», —подумал Иванчик. А, ведь наши собаки на обглоданную

кость вовсе и не бросаются. Наверное потому, что мы им животы не подтягиваем».

В столовой какой-то крик. Иванчик выглянул из детской и увидел совершенно неожиданное. Вокруг длинного, на пятьдесят персон, стола бегал Подвойский, а за ним, пытаясь догнать, телохранитель-матрос. Его, обычно коричневое от загара, лицо стало красным и даже белая полоса на лбу, спасенная от солнца безкозыркой, не выделялась.

— Я тебе покажу, как смеяться! — орал он, — Сволочь паршивая, мать твою... Крестик нательный тебя заел... а сам... Николай угодника с собой таскаешь... мать твою...! Я крестильный крестик снять должен, а ты?!.. мать твою... с иконкой не растанешься...

— Да успокойся! — на бегу говорил Подвойский. Носи свой крестик, да только не показывай.

Матрос стал. Стал и Подвойский.

— Не пока-зывай! — передразнил матрос. — Привык своего Николая угодника прятать!.. Не по-ка-зы-вай!..

Вскоре Подвойский уехал в специальном вагоне, где была спрятана, разозлившая матроса иконка.

Из Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов пришло распоряжение о сдаче оружия. Папа и Николай сдали его. Иванчику было странно видеть пустой, осиротевший ружейный шкаф и было жалко своей безкурковки.

Гостиную опять готовили для новых постояльцев. Теперь в ней должен был жить начальник Особого отдела ЧК. Об новом постояльце даже прислуга, собиравшаяся управлять государством, говорила со страхом.

Начальник поселился вместе со своим помощником, человеком среднего роста, в кожаной коричневой куртке, подпоясанной широким поясом с кобурой револьвера. Сам начальник, Королев, был одет в обыкновенную защитную форму. Его лицо поразило Иванчика. Под шапкой густых, черных, вьющихся волос широкий лоб, а под густыми бровями глаза, горящие неспокойным огнем, глядели строго и проницательно. Оба рано уходили и поздно возвращались, а помощник — Кисе-

лев— иногда не бывал дома по несколько дней подряд. Однажды он пришел домой раньше обычного, румяный и словно пьяный. Прошел, пошатываясь, к себе. Из-за закрытых дверей его комнаты, Иванчик услышал разговор. Говорил только один человек, отрывисто с выкриками. «С кем он говорит?» — подумал Иванчик. — «Ведь в комнате, кроме него, никого нет».

— Мама, мама! Киселев сам с собой разговаривает!

Мать пошла и постучалась. Никто не отозвался, только доносился, говорящий что-то несвязное, прерывистый голос Киселева.

— Он бредит. Ваня! — позвала она отца. — Иди сюда! С Киселевым что-то неладное.

Отец открыл дверь и вошел к Киселеву. Тот, не сняв ни револьвера, ни куртки, лежал на кровати и бредил. Позвали врача.

— Возвратный тиф. — Сказал доктор, приписал лекарство и ушел.

Иванчик сбегал в аптеку за лекарством, а мама принялась ухаживать за больным.

— Мама, мама! .. — бормотал Киселев. — Это ничего . . . мама! . . а папа рассердился . . . они не заметят мама . . . большевики, говоришь ты . . . ничего . . . мама, я опять приду . . .

— С Киселевым, что-то неладное, Ваня. — сказала мать. — Он в бреду больше о белых хлопочет. Все родственников вспоминает, да что-то им объяснить старается.

— А ты, разве не знаешь, что Киселев — сын генерала? — сказал отец.

Приступ возвратного тифа прошел и Киселев вновь исчез на несколько дней.

— Знаешь, Наташа, — сказал отец, — меня удивляют постоянные отлучки Киселева. Того и гляди, что он к белым ходит. Не зря он так странно бредил.

Опять пришел Киселев, как пьяный. Опять сидела мать у его постели и слушала несвязный бред. После приступа Киселев спросил ее, что он говорил в бреду. И мать, засмеявшись, ответила: — Да все маму звали!

— А больше ничего? . .

— Ничего!

Киселев, словно стараясь прочесть в ее глазах правду, внимательно посмотрел и больше не спрашивал.

. . . .

—Негодяй! — услышал Иванчик. — Вы застрелили невинного человека. Нестеров никогда не занимался политикой!

— Он враг! Его нужно было уничтожить! — выкрикнул в лицо матери начальник Особого отдела.

— Какой враг?! — так же выкрикнула мать. — Мне ли не знать его? Человек знал одну заботу — семью прокормить, а вы . . .

Недослушав, Королев ушел.

— Что ты делаешь, Наташа? — укоризненно сказал отец. — Ведь он чекист. Того и гляди беда будет!

— Ничего особенного не делаю! Он все думает, что за счастье народное борется. Врагов народа уничтожает. Да и что он мне, женщине, сделает?

Прошло несколько дней. Иванчик услышал в столовой какое-то бормотание и заглянул в дверь. На диване, схватясь руками за голову и раскачиваясь, будто его мучили неимоверные муки, сидел Королев. «Больной тоже!» — подумал Иванчик, пошел и позвал мать. Та, осторожно, через дверь, поглядела на Королева и пошла к отцу. Когда она вернулась с отцом, Королев уже несколько справился с собой. Увидев мать, он поднялся, подошел к ней, и сказал: — Вы правы, Наталья Павловна! Я . . . убил невинного человека . . . Нестеров ни в чем не виноват!

Отец и мать с изумлением смотрели на него. Их поразил вид кающегося чекиста. А он, встряхнувшись, продолжил: — А все-таки, я не хотел этого . . . Кругом враги!

Семью Иванчика выселили из дома и поселили во флигеле, служившим ранее квартирой кучеру.

Не успели разместиться, как кто-то сильно постучал. Отец открыл дверь и в комнату ввалилась группа чекистов во главе с Овчинниковой, полной женщиной лет тридцати, в защитной гимнастерке и плотно обтягивающих толстые ляшки синих штанах. Вся эта группа, а Овчиникова особенно, по мнению Королева, состояла из преданных пролетариату борцов за дело революции.

Овчинникова с гордостью говорила о своем сверхпролетарском прошлом: она была ранее проституткой. Вместе с группой пришел и слесарь Петренко, хорошо знавший отца.

— Ну, белогвардейские шкуры! Показывайте, куда золото спрятали! — начала Овчинникова. — Не покажете, сами найдем! — и скверно выругалась.

Мать, побледневшая, со сжатыми в полоску губами, с презрением глядела на Овчинникову. Отец, нарочито спокойно, сидел в кресле. Рассыпавшись по комнатам, чекисты начали обыск. Искали, что поценней. Овчинникова, залезши на стул, ковыряла ногтями иконные оклады, проверяя, не из золота ли они. Убедившись, что золота нет, она принялась богохульничать, отвратительно, как может это сделать истасканая девка. Иванчик ждал, что вот-вот ударит гром и поразит святотатствующую. Мать, всегда бравировавшая своим вольнодумством, была готова кинуться на Овчинникову.

— Успокойся, Наташа! — сказал отец, и мать смирила себя.

Петренко копался в папином письменном столе, нашел серебряные часы, зажал их в кулак и пошел к отцу.

— Иван Львович! Они-то все равно часы заберут, а я для вас спрячу.

Отец утвердительно кивнул и часы исчезли в кармане Петренко.

Овчинникова торжествовала. Она имела возможность поиздеваться над людьми из мира, который ей, до захвата власти «диктатурой пролетариата», был совершенно недоступен.

— Эй, ты! — процедила Овчинникова, подойдя к матери. — Не стой так, как статуя! Да и рожу не криви, а то . . . — и вихляя бедрами надвинулась на мать. Казалось, она сейчас ударит.

Общее внимание обратилось к двум женщинам. Мать, с холодным презрением, сверху вниз, несмотря на то, что Овчинникова была с ней одного роста, глядела на нее. И чекистка, под холодом этого взгляда, растерялась. Ярость бессилия исказила ее лицо. Нако-

нец, она отвела глаза в сторону, и стало ясно, что Овчинникова не смеет тронуть мать.

— Проклятая буржуйка! — взвизгнула Овчинникова и попятилась.

Очутившись в кругу своих, она осмелела.

— Гады белогвардейские! — бурчала она. — Ишь как разместились! три комнаты с куфней занимают...

Обыск оборвался. Чекисты окружили свою начальницу. — Идем, товарищи! — скомандовала она и увела свою группу.

Мать в изнеможении опустилась на стул. Стала маленько и слабой. Иванчику захотелось приласкать, пожалеть ее.

Месть Овчинниковой последовала быстро. Пришел маленький еврейчик, агент ЧК, плюгавый и невзрачный, с наганом на поясе и важной миной. Потребовал немедленного предоставления ему комнаты под жилье. Осмотрел квартиру и остановил свой выбор на спальне.

— Ничего не трогайте, — приказал он, — только сами отсюда выкидувайтесь!

Из спальни «викинулись», и товарищ Бернштейн занял ее.

Трудно себе представить, что один человечек мог оказаться таким всё занимающим и всем мешающим, как этот Бернштейн, или, просто, как звала его Овчинникова, Абрам. Рано утром дом наполнился тягучим завыванием несшимся из комнаты Абрама. Иванчик посмотрел в щелочку и увидел Абрама, завернутого в полосатую простыню. Он, стоя на коленях, выл что-то и раскачивался в такт вою. «Молится, наверное» — подумал Иванчик. Наконец, Абрам снял простыню и, тщательно свернув, спрятал ее. Потом натянул на себя чекистскую форму, полюбовался собой и с шумом затопал через комнаты, толкнув попавшегося ему на пути Иванчика. Вечером Абрам, не спрашивая согласия, уселся за общим столом и начал описывать свое величие: он — самый старший! он самый смелый! он!... Фантазия у Абрама была богатая, но дара речи он не имел. Бахвальствуя употреблял коротенькие фразы, прерывистые и не всегда понятные. В действительности

же, трус он был невероятный. Его первое «геройство» очень огорчило Иванчика, доставшего, после сдачи настоящего оружия, деревянный наган, очень похожий на настоящий. Абрам увидел игрушку, страшно испугался, подумал не весть что.

— Дай сюда леворверт! — кинулся он на Иванчика и, осторожно, словно деревяшка и впрямь могла выстрелить, спрятал трофей в карман.

Несколько дней спустя, Абрам, с перепугу, чуть-чуть не убил слепую старуху соседку. Абрам собрался куда-то идти, подошел к калитке, а в это время старуха, ощупывая забор, пробиралась к ней. Абрам вообразил, что на него кто-то собирается совершить покушение. Заорал, будто его режут, и начал стрелять. К счастью старухи, перепуганный Абрам попасть в нее не мог. Выбежавшие на выстрелы чекисты застали Абрама в полуобмороке сидящим на земле.

ГЛАВА IV

Поползли слухи, что на Тамани высадился Врангель. Ждали новых событий. Одни мечтали о возвращении белых, другие или желали разгрома дессанта, или хотели принять участие в его разгроме. В числе последних оказался начальник Особого отдела Королев. В качестве политработника он был «брошен на прорыв». В Особом отделе власть перешла в руки Овчинниковой. Она, прежде всего, арестовала отца. Окруженный чекистами, он, через их головы, сказал:

— Не бойся Наташа! Это недоразумение. Разберутся — выпустят! — потом, взглянул на Иванчика и улыбнулся ему. Улыбка кольнула Иванчика в сердце: что-то в ней было жалкое, больное.

Отца увели и стало в доме пусто.

Овчинникова не забыла и семью арестованного. Чуть ли не ежедневно появлялась с «обыском» и издевалась,

как могла. И после каждого такого «обыска» на душе оставалось чувство безнадежности, бессилия и . . . брезгливого презрения.

— Дрянь — эта Овчинникова! — сказала мать. — А Королев так распинался за нее. Она — «преданная служительница революции; она — бескорыстная героиня, борющаяся за светлое будущее», а она, просто дрянь!

Однажды Овчинникова со своей бандой производила очередной обыск. Как всегда, оскорбления, кражи-реквизиции того, что понравилось. В самый разгар «обыска» внезапно появился Королев. Высокий, еще более подтянутый, в выцветшей гимнастерке подпоясанной ободранным поясом с висевшим на нем кольтом, Королев, стоя в дверях, с изумлением смотрел на не обратившую внимания на его приход банду. Поняв что происходит, он пришел в ярость.

— Прекратить! — задыхаясь сказал Королев.

Взглянув на него, Овчинникова со злобной радостью, выкрикнула:

— Ты тут не командуй! Ты мне не начальник! Катись к .... матери!

Королев хотел что-то сказать, потом, видимо, передумал, резко повернулся и вышел. Как раненный зверь заметался по двору и странно было видеть этого сильного человека обиженным и не способным защитить себя. Остановился, постоял немного и решительно направился к дверям, расстегивая кобуру пистолета. Потом опять стал, махнул безнадежно рукой и быстро пошел к воротам.

Вскоре узнали, что Королев застрелился, а еще через несколько дней, исчезла Овчинникова со всей своей бандой. Говорили, что Королев оставил письмо, в котором обвинял Овчинникову, и ее с бандой арестовали.

Маруся собрала отцовские вещи и, чтобы не побила моль, пересыпала нафталином и связала в большой узел. Не успела она кончить свою работу, как пришли с обыском. Сразу же «нашли» узел.

— Ага! — сказал чекист-начальник. — Для беляков формы приготовили!

Как не объясняла Маруся, — не захотел слушать.

— Что, там, разговаривать! Гадюки вы! Пострелять вас всех надо! Собирайтесь, вы арестованы!

— А сын... растеряно сказала мать. — Он как же один останется?

— То же гадюшонок! Не жалко!

Мать и Марусю увели и Иванчик остался один в в опустевшей квартире. В пустом доме было скучно. Ему захотелось есть. Есть было нечего. Он вспомнил, что в конюшне стояла лошадь, которую оставили вместо реквизированного рысака. Она была вся мокрая от паршей и масла, которым ее мазала как лекарством Маруся, и ее прозвали Макриной. Сена для Макрины не было и, до ареста, Маруся ездила на ней в степь, пасла ее и косила, на ночь, траву. Теперь Маруси не было и некому было пасти Макрину.

Иванчику хотелось есть. Вспомнил, что можно наловить рыбы, а, заодно, и Макрину накормить. Трудно было восьмилетнему ребенку запречь лошадь, но, помучившись изрядно, Иванчик уселся на подводу и поехал. До реки нужно было ехать километров пять вдоль полотна железной дороги — мимо будок, где жили осмотрщики путей. Возле каждой будки бегали куры и голодный Иванчик смотрел на них и думал: «Как было бы хорошо поесть курицы!»

Показались камыши и, наконец, заблестела стальной полосой, река. Иванчик распрег Макрину, спутал ей ноги и пошел ловить рыбу. Макрина паслась у самого берега и Иванчик слышал, как она жевала сочную траву. Слушал и жалел, что сам не может есть траву.

На глади воды лежал поплавок-соломинка, и теперь это была действительно та соломинка, за которую, как утопающий, хватался Иванчик. «Что, если не будет клевать?» — с тоской думал он.

Поплавок вздрогнул и пошел в сторону. — Взяла! — обрадовался Иванчик, подсек и выбросил на берег, блеснувшую на солнце, плотву. Поймал с десяток, развел костер и бросил рыбок, не чистя, в горячую золу. Смотрел, как они ежились от жару и раздувались. Полусырыми съел, не заметив ни вони раздутых внутренностей, ни запаха гари. Поймал еще несколько рыбок, —

в запас, и пошел косить траву. Старался делать это, как большие, широко размахивался косой и бросал ее в густую траву, но она не слушалась и впивалась носком в землю. Скоро руки покрылись щемящими пузырями, а травы накошено было мало. Чуть не плача, собрав все силы, Иванчик косил. Вечером, улегшись на траву наполнявшую воз, поехал домой. Тихо покачивало и Иванчик уснул. Макрина сама довезла его до ворот.

Так добывал Иванчик пропитание для себя и Макрины несколько дней. Теперь он брал с собой котелок и ложку, варил рыбу и был сыт. Однажды рыба не клевала и Иванчик голодный поехал домой. На другой день опять поехал на реку. Макрина лениво тянула воз мимо будки с бегающими около нее курами. Вокруг никого не было. Иванчик, вооружившись кнутом, соскочил с подводы, с замирающим от страха сердцем подкрался к курице, размахнулся и хлестнул ее кнутовищем по голове. Схватил курицу, спрятал под рогожу.

*

Маруся вернулась из тюрьмы, за нею мать. Иванчику уже не нужно было ездить на реку, да и Макрину продали. Из Ростова привозили судаков и Маруся их покупала. Ели рыбу вдоволь, и Маруся даже стала сушить ее впрок. Однажды Иванчик остался совсем один дома. Бродил, скучая, по двору и не знал, чем заняться. Дверь квартиры он не закрыл, не думая о ворах. Вдруг он увидел, что из двери выходит какая-то женщина. «Что она делала в комнатах? — подумал он. — Наверное что-нибудь украла!» — и Иванчик кинулся к поспешно уходящей женщине.

— Стой! стой! — закричал он, забегая вперед.

Женщина покорно остановилась и понуро стояла, не глядя на Иванчика. Он увидел, что она держит что-то на груди под пальто, схватил за полу, дернул в сторону и замер: на женщине, кроме пальто, ничего не было. К голой груди она прижимала судака и деревянную ложку.

«Как страшно! .. голая! — подумал он. — И взяла только судака и деревянную ложку! Значит совсем

голодная» . . . — И стало ему стыдно, что он ловил ее, как вора. А женщина стояла, будто приговоренная к смерти. Запахнул пальто.

— Иди! . .

*

Отец вернулся из тюрьмы. Седой, сильно похудевший, он выглядел, как после тяжелой болезни. Вымывшись и сменив грязную, пахнувшую карболкой, одежду он рассказал:

— Сидел я в подвале. Тесно — как сельди в бочке. Люди как люди и почти никто не знал, что за преступление он совершил. От долгого сидения люди отупели, ничего не ждали, ни на что не надеялись. Только, когда кого-нибудь вызывали с вещами, — на расстрел, страшно становилось. Я себе, слава Богу, работу нашел. Разбилось стекло от очков, а у одного подходящее нашлось. Так я его к оправе своих очков подгонял. Сижу и тру о цементный пол. Медленно поддавалось, но это и хорошо: было чем время заполнить. Только, когда вызывали кого-нибудь с вещами — ловил себя на мысли: «не меня, слава Богу!» и стыдно становилось. Однажды стали многих вызывать. Слышу и мою фамилию выкрикивают. Испугался сначала, а потом думаю: «Ничего страшного, если сразу многих вызывают!» Выгнали нас во двор, да прямо к стене. Конвойные напротив стали, с винтовками на перевес. Тревожно мне стало, а как услышал что автомобили заводят, так и совсем духом упал. Ну, думаю, тут же и расстреляют! Чтобы выстрелы заглушить — моторы завели! Стою и уже с жизнью прощаюсь. Вдруг слышу, кричат что-то. Я и не понял что, только нас от стены прочь погнали. Опомнился только, когда опять в подвале очутился. На другой день опять нас вызвали и погнали, только уже не во двор, а в канцелярию. Вы, говорят, свободны, получайте документы и марш по домам! Я, сразу и не поверил, только выйдя на улицу понял, что и впрям свободен.

*

Однажды, вечером, кто-то постучался, мать пошла открывать и вернулась с каким-то оборванным и грязным, уже немолодым, мужчиной. Усадила его за стол

и он, поедая поданную ему еду, рассказывал о своих мытарствах. Мать слушала, охала и подкладывала ему пищу в тарелку. Отец не вышел из соседней комнаты. На другой день пришли вооруженные люди, показали ордер на обыск и арест и, не обыскивая, увели отца.

*

Прошли недели. Было голодно и Иванчик, видя что другие мальчики помогают своим, торгуя чем придется съестным на вокзале, решил тоже торговать. Мать купила четверть молока, вскипятила его и Иванчик, взяв бутыль и стакан, отправился на вокзал. Торговля шла плохо, другие кричали на распев: «молока! молока горячего!», а он стеснялся и уныло бродил по перрону. Подошел поезд. Из него высыпали пассажиры и Иванчик бросился к ним со своим молоком. Вдруг кто-то позвал: «Иванчик!» Оглянулся и увидел идущего к нему человека в кожанке. Испугался и хотел было бежать, подумав что это чекист, но, вглядевшись, узнал Андрианова. Андрианов отвел его в сторону и спросил:

— Где папа?

— Сидит! — ответил Иванчик.

— Как сидит! .. Где? ..

— Не знаю ...

— А мама?

— Мама дома ...

— Пойдем к ней! — сказал Андрианов.

Андрианов долго говорил с матерью, распрашивал об отце, и, наконец, пообещал добиться его освобождения.

Когда он ушел, мать радостно говорила, что теперь, наверное, отец скоро вернется домой: ведь Андрианов — большой начальник! Иванчик слушал и радовался.

Через несколько дней отец, действительно, вернулся и рассказал, что его выручил Андрианов.

— Знаешь, Наташа? — Вспомнил отец.— Хорошо, что я тогда к нищему не вышел!

— К какому нищему? ..

— А к тому, что ты кормила перед моим арестом. Он провокатором оказался. Мне предъявили обвинение в том, что я против советской власти высказывался и

сказали что тот, с кем я так говорил, свидетелем выступит. Я сказал, что ни с кем так не говорил и потребовал очную ставку. Выстроили нас человек пять, гляжу, а тот, что у нас как нищий был, я его тогда видел, опознавать пришел. Да не мог узнать! Смотрел, смотрел, да и указал на другого. А я сидел, без обвинения, пока Андрианов меня из тюрьмы вывел. Он рассказал мне всякие новости и, между прочим, что тогда нас, помнишь Наташа, я рассказывал, когда во двор выгоняли, и впрямь расстрелять хотели. Тогда приехал неожиданно большой начальник-чекист из Москвы — ревизию делать. А на нас и дела не были заведены. Вот местное начальство и решило: расстрелять всех таких, и концы в воду. Да на наше счастье начальник во двор вышел, когда мы у стены стояли. Увидел, приказал вернуть, разобрался в чем дело, и отпустил.

На другой день отец, взяв с собой Иванчика, пошел оформлять свои документы. Нужно было идти мимо дома, где была тюрьма. В подвале этого дома сидели арестанты и, чтобы они не могли выглядывать на улицу, окна подвала были забиты обращенными к верху деревянными козырьками. Проходя мимо подвала, отец вдруг остановился. Лицо его побледнело и он, большой и сильный, закачался и ухватился рукой за растущее возле тротуара, молодое деревцо. Иванчик со страхом смотрел на шатающегося вместе с деревцом отца. Глаза его были закрыты и казалось что он сейчас упадет. Вдруг отец напрягся, открыл глаза и, перестав качаться, взглянул на голубое небо, улыбнулся так, что Иванчику стало до боли жаль его, и сказал: — А все-таки, хорошо жить на свете!

*

Отец заболел. Врачи сказали, что у него сыпной тиф и нужно ждать кризиса. Иванчик смотрел на мечущегося в жару отца и не верил, что тот может умереть. Железная натура отца справилась с тифом. Надеялись на быстрое выздоровление, но отец, вдруг, стал громко стонать. Вновь вызванный врач, осмотрев его, признал воспаление мозга. Надежды на выздоровление не стало. Врач делал все возможное, чтобы облегчить

страдания больного. Мать, окаменев от страха потерять любимого, не отходила от постели. «Наташа, Наташа!» — были последние слова отца.

Иванчик глядел на ставшее желтым и окаменевшим лицо отца и не мог верить, что тот уже никогда больше не позовет его, никогда не улыбнется ему.

— Иванчик, поцелуй папу! — тихо сказала Маруся. Иванчик приблизился к отцу, прикоснулся губами к покрытому холодным потом, затвердевшему лбу . . . ему стало страшно.

Отца положили в гроб в полной форме, но без погон, и он, так любивший жизнь, лежал безразличный ко всему и всем. Во дворе собралось много народа — все мастеровые. Пришел духовой оркестр. Гроб подняли и, на руках, понесли. Раздались торжественные звуки похоронного марша и, казалось, медные трубы пели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой» . . . Гроб колыхался над головами несущих и было видно желтое, застывшее лицо отца. Мать за гробом не шла: она совсем обессилела и осталась дома. Процессия вошла во двор церкви и остановилась у свежевырытой могилы. Трубы замолчали, послышался голос священника. Закрыли гроб крышкой и стали забивать гвоздями. Иванчику казалось невероятным, что отец позволяет это делать. Хотелось закричать: «Что вы делаете? Зачем душите его крышкой?!» Гроб опустили в могилу. Иванчику сказали, что он должен бросить горсть земли. Глухо стукнула земля по гробу, еще и еще. Люди лопатами стали загребать могилу и скоро на ее месте остался только бугор черной земли.

Только вернувшись домой и увидев опустевшую отцовскую кровать, понял Иванчик, что никогда больше не увидит отца, и заплакал.

Мама заболела и все хозяйство вела Маруся. Иванчик жил своей детской жизнью. Его не удивляло, что больная мама пекла из белой муки пирожные «Пти-шу» и никому их не давала, а Маруся уносила их на вокзал, продавала там, а домой приносила горчичный жмых, серый и твердый, как доска. Ему казалось, что все так и должно быть. Маруся била молотком жмых на куски и

бросала их в воду. Вода становилась горькая и Маруся заменяла ее новой. Сливши воду последний раз, Маруся выбирала серую гущу, прибавляла к ней немного муки, делала лепешки и пекла их прямо на плите. Они были серые, потрескавшиеся, горькие, и шуршали во рту, но, несмотря на это, казались Иванчику очень вкусными.

У мамы сохранились, спрятанные, драгоценности, но их нельзя было продать, — ценилось только съедобное. Реальной драгоценностью стал жмых.

Все больше и больше стало в Тихорецкой пришлого начальства. Рабочие уже перестали верить что власть ихняя и думали уже больше о спасении собственных жизней. Новое начальство нашло, что квартира кучера слишком роскошна для семьи жандармского полковника и ее выселили, не дав другой квартиры. Пришлось бы ночевать на улице, если бы сосед-домохозяин, старый машинист, не дал комнату. Привыкший уже ко всему Иванчик, нашел в переселении даже интересное. Таскал вещи в новую квартиру, а ночью, с Марусей, зарыл драгоценности под крылечком новой квартиры.

ГЛАВА V

Начался нэп и жить стало легче. Можно уже было продавать золото и серебро и покупать муку и другие вещи. Иванчик, когда было нужно, выкапывал ночью какую-нибудь вещь, из нее выламывали драгоценные камни, а металл продавали. Уже больше не голодали и мать, видя невозможность дальше жить в данной из милости комнате, решила купить дом. Из-под крылечка достали несколько вещей, продали их, и купили половину «плана» с двумя маленькими саманными домами. Переселяясь, в суете забыли про зарытые драгоценности, а когда о них вспомнили, испугались что нельзя

будет их откопать: в старую квартиру уже вселились новые жильцы. Откапывать вещи под крыльцом чужой квартиры было опасно, но сделать это было нужно. Темной ночью Маруся с Иванчиком, как воры, отправились в чужой двор откапывать клад. Иванчик боялся, но увлекала таинственность предприятия. Вспоминая приключения Шерлока Холмса и стараясь подражать ему, Иванчик крался по погруженному во тьму двору. Вот и крылечко. Нужно было копать: так чтобы не сделать никакого шума, чтобы никто ничего не заметил. С трепещущим сердцем, замирая при каждом, казавшемся необычайно громким, шорохе лопаты он копал. Казалось, что время тянется невероятно медленно и ему никогда не достать свертка с вещами. Наконец, лопата воткнулась во что-то мягкое. Достав сверток, Иванчик засыпал ямку и старательно разгладил землю руками. Когда шли домой, Иванчику казалось, что он, копая, ничего не боялся.

В одном из купленных домиков, имевшем три маленькие комнаты и кухню, разместилась семья Иванчика, а другой — комната и кухня, мама сдала рабочему Ломтьеву. Жизнь пошла по новому. Добывание пищи не было уже главным занятием, появились другие интересы. Жмых продавали на базаре уже только для откорма свиней, пустовавшие ранее прилавки заполнились грудами всякой снеди. Иванчик слушал разговоры о совершенно новых для него делах: один рассказывал о закупке шкур скота и приготовлении из них кож, другой толковал о закупке пшеницы — каждый жил по-своему.

Ломтьев, по вечерам, мастерил аппарат со змеевиком из медной трубки и, с таинственным видом, говорил, какой шикарный самогон он выгонит. Иванчик знал, что гнать самогон запрещено, но никак не мог согласиться, что Ломтьев, только потому что будет гнать самогон, станет преступником.

Самогон у Ломтьева вышел прекрасный. На торжество пришел бывший военный капельмейстер Хлебников, обиженный революцией отнявшей у него, похожую на офицерскую, форму. Этой формой Хлебников был горд и ее потеря поразила его. Он стал пить запоем,

перешедшим, с тех пор когда Хлебников отсидел пару недель в подвале ГПУ из-за этой самой формы, в запой невероятный. Кто-то, плохо разбиравшийся в военных формах, донес что Хлебников был офицером. Его арестовали, но разобравшись, — отпустили. На Хлебникова непризнание его капельмейстерской формы достойной того, чтобы ее владелец сидел в подвале, подействовало удручающе. С формой он потерял все, что было содержанием его жизни и жил только в пьяных мечтах.

Иванчик глядел на Хлебникова, рослого, широкоплечего мужчину лет пятидесяти с широким русским лицом, украшенным длинными офицерскими усами. Усы, широко расходясь в стороны, делали лицо Хлебникова квадратным, а прическа «ежиком» еще более усиливала впечатление.

После нескольких стаканов самогона, Хлебников покраснел, но пьяным не сделался. Только речь его стала свободней, самоуверенней. С каждым стаканом самогона, выпитым с молодецким кряком, мысли его уходили в прошлое.

Иванчик услышал, что речь зашла об его отце.

— Эх! Иван Львович был молодец! — говорил Хлебников. — Что за выправка! .. А форма! .. Не форма, красота одна. Моя шикарная была, а его . . . и говорить нечего. Как оденет парадную, словно и не человек, а бог! Каска серебряная с двухглавым орлом, сверху на ней щетка закругленная из конского волоса, а на подбородок чешуя серебряная опускается. Мундир синий с золотыми эполетами, с плеча на грудь серебряные аксельбанты спускаются. Пояс серебряный, а на нем сабля — по полу волочится. Брюки синие с красными кантами, шавровые ботинки с серебряными шпорами . . .

— Слушай, Максимыч! — обратился он к Ломтьеву. — Знаешь ты, что из-за этих шпор с жандармским унтер-офицером Ющенко случилось? — и, не дожидаясь ответа, рассказал:

— Приехал Иван Львович к нам, в Тихорецкую. Тогда времена были смутные, революционные и у нас Степные дьяволы действовали. Арканили людей. Идет человек, ничего плохого не ожидает, кругом тихо, ночь,

на улице ни души, а они, — эти Дьяволы — притаятся за углом и ждут. Идет человек и не чует, что беда близится, а они уж и аркан готовят. Свистнет аркан в воздухе, почует человек петлю на шее, да — поздно! Тянут его к себе Дьяволы. Пока дотянут, человек уже и Богу душу отдал. Мертвый он смирный, все с него снять можно — не противится. А прикрывались эти Дьяволы революционностью. Мы, мол, за бедный народ стоим! Награбленное грабим!

Приехал Иван Львович, а за ним пара рабочих из Полтавы, да и объяснили они нашим мастеровым, что за человек Иван Львович. Ну, словом, сказали: «Этого берегите, — наш полковник!» А тот, сразу за Степных дьяволов принялся. Объяснил народу, что нету ничего общего между революцией и Дьяволами, что, просто, разбойники они. Другого, может, и не послушались бы, а он — «наш полковник». Это понимать надо! Вот и стало Дьяволам туго. Народ перестал укрывать их, а полиция прижала. Тогда написали они полковнику угрозу. Не прекратишь, мол, преследование, — укокошим! А тот, и в ус не дует! Все по вечерам в клубе, под мой оркестр, польки да мазурки танцует. Как пустится — шпоры малиновым звоном звенят. А шпор таких в Тихорецкой ни у кого не было. Серебряные шпоры, с малиновым звоном! А Ющенко захотелось такими же шпорами пощеголять. Собрал он деньги, поехал в Ростов, да там себе шпоры и заказал. Получил, — нарадоваться не мог. Звенят при каждом шаге, как полковничьи. Да на беду радовался. Степные дьяволы тоже знали, как звенят шпоры полковника, да, на этом, свой злодейский план и построили. На свету они нападать боялись, в темноте действовали. А звон и в темноте слышно. Так вот и задумали они ждать на улице в темном месте, когда зазвенит шпорами полковник, да и заарканить. А полковник в тот день до поздна в клубе задержался. Сидят Степные дьяволы, ждут. Слышат, звенят шпоры — малиновым звоном звенят. Подпустили поближе и . . . заарканили. Звякнули последний раз шпоры и замолчали . . . перестали звенеть . . . Да только не полковничьи! По улице-то Ющенко своими новыми шпорами звенел.

Иванчик, с открытым ртом слушал и ему стало досадно, когда Хлебников замолчал. А тот, сидел пригорюнившись — весь в прошлом.

— Да . . . — раздумчиво сказал Ломтьев. — А знаешь, как митинговали раз у нас? . . Приехали студенты из Ростова, собрали возле депо митинг. Вылезли на бочку, кричат, к забастовке призывают, к революции. Стоим мы, слушаем — красиво говорят. А те о жертвенности начали, нужно, мол, для народа жизнью жертвовать! Вот, думаю, герои! Только, вдруг замолчали они, словно языки отнялись. Гляжу, а под самой бочкой полковник стоит, как всегда, без оружия, да на ораторов смотрит. А те, вдруг, с бочки. А полковник, как ни в чем ни бывало, ребятам: «А ну, придержите их! Я тоже что-то сказать хочу». Ну и придержали. Влез полковник на бочку, подождал, когда затихнет, да и говорит: «Вы вот, тут этих «героев» слушали: революция, забастовка, жизнью жертвовать. А они, как зайцы, кинулись от меня бежать. А что я им один сделать могу? Куда геройство их делось? Только вас баламутят! Заварят кашу, а вам — расхлебывать!» Показал на ораторов и говорит: «А этих я и арестовывать не буду. Они посидят неделю, а потом мучениками себя объявят. Гоните их, ребята, к чорту!» И погнали . . . Да . . . если бы таких, как полковник, больше было, и революции бы не было.

Хлебников встрепенулся: — Эх! Максимыч, выпьем! И выпили.

ГЛАВА VI

Иванчик уже кончал восьмой класс школы, когда какому-то мудрецу в центре, пришло в голову, что не нужно рабочему классу иметь школы десятилетки, хватит и семилеток. Вот и остались ученики старших классов на распутьи: негде школу кончать. Выручили учителя, открыв среднюю школу в станице Тихорецкой. До станицы было семь километров и Иванчику пришлось

искать там квартиру. Мать не могла дать ему много денег и он должен был сильно экономить. Пятнадцатилетний Иванчик снял квартиру у казака Козлова за 5 рублей в месяц и подсчитал, что ему остается, на мелкие расходы, по 50 копеек в неделю. Это не испугало. Он рассчитывал ходить по субботам домой и там подкармливаться. Началась новая, вне родительского дома, жизнь.

В школе было много типично станичных учителей. Особенно занятен был преподаватель математики, Никанор Акимович Харченко. Если бы не его наряд, состоящий из солдатской шинели, таких же ботинок и огромной белой папахи, можно было бы подумать, что он человек вне времени — человек в футляре. На все у него были твердо установленные правила, несовременные и комичные. Первый приход его в класс вызвал изумление необычайное. Класс был своеобразный: самым молодым был Иванчик, товарищи его по старой школе были на два-три года старше, а новые ученики, в большинстве, совсем взрослые. Эти люди либо окончили еще до революции средние школы и хотели, воспользовавшись случаем, кончить и советскую школу, или такие, которым революция не дала кончить школу и они теперь наверстывали упущенное. Некоторые были уже женаты, имели детей, ходивших в начальную школу. И вот, в такой класс, пришел Никанор Акимовичь, со своими правилами выработанными им при преподавании в начальной школе.

При последних звуках звонка на урок, дверь в класс начала медленно открываться, так медленно, что казалось, она открывается сама. Внимание всех обратилось к ней. Дверь приоткрылась, наконец, сантиметров на двадцать и в образовавшейся щели появился носок солдатского ботинка поднятый вверх, который, казалось, тянул за собой весь ботинок. Наконец, ботинок вылез из щели, стал на каблук. За ним появилась пола солдатской шинели, потом вся шинель со скрещенными на груди руками, державшими классный журнал увенчанный стопочкой книг с лежавшим на ней, аккуратно сложенным, носовым платком. И только теперь, круглое, как будто смазанное жиром, усатое, бесстрастное лицо

Никанора Акимовича. Держась совершенно прямо, глядя, через узкие щелочки слезящихся глаз, прямо перед собой, Никанор Акимович, медленно и осторожно ступая — каждый раз на каблук ботинка — двигался к кафедре. Дойдя до нее, Никанор Акимович, осторожно и медленно, как святыню, положил журнал с пирамидкой увенчанной носовым платком, посмотрел на затихших от изумления учеников и, высоким, совсем не подходящим к его облику, голосом, произнес: — Здравствуйте дети!

— Здравствуйте ! — многоголосым хором, в котором были все тона — от дисканта Иванчика, до глубоких басов, занявших последние парты, отцов семейств.

— Садитесь!

— Кто из вас, дети, не имеет тетрадок?

Никто не ответил.

— Кто из вас, дети, не имеет ручек? — невозмутимо продолжал педагог.

Класс готов был расхохотаться. Послышались голоса: «У всех есть ручки! Имеем ручки! ..»

— Дети, отвечайте только те, у кого нет ручек! .. У кого нет перьев?

Иванчик, из озорства, сказал: — У меня нет пера.

Никанор Акимович поглядел на него с укоризной, справился, где он живет и велел ему пойти и принести перо. Давясь от смеха Иванчик пошел. Вернулся он к концу урока и имел удовольствие наблюдать выход из класса учителя, как две капли воды похожий на его приход.

Привыкших к энергичному и неформальному преподаванию учеников раздражала монотонность Никанора Акимовича, хотелось вывести его из постоянной бесстрастности, чем нибудь рассердить, но все попытки ни к чему не приводили. Однажды в пришкольном доме, где жил Никанор Акимович, случился пожар. Сбежавшиеся ученики видели, как из горящего дома вытягивали из дверей и выбрасывали из окон вещи учителей, а Никанор Акимович осторожно, стараясь не попортить, выносил свои. Когда все уже было вынесено, он поискал в ящике комода, достал щипцы и, к всеобщему

изумлению, пошел в горящую квартиру и стал вытаскивать из стен гвозди.

После этого, ученики не пытались больше вывести Никанора Акимовича из его невозмутимости.

Каждую субботу Иванчик, с друзьями, маршировал семь километров домой, там наедался до сыта. В воскресенье после обеда, нагрузившись продуктами, шел опять в станицу и, до следующей субботы, жил впроголодь, но «самостоятельно». Хозяин квартиры, ранее зажиточный казак Козлов, работал от зари до зари и редко видел Иванчика, а когда видел — старался чем-нибудь подкормить. Три товарища Иванчика, все классом ниже: Колька Хаустов, маленький, живой и немного хулиганистый, Андрюшка Перекрестов, худой, высокий и очень нахальный, вызывавший своим нахальством постоянно конфликты с чужими ребятами и, когда доходило до драки, прятавшийся за спину Иванчика, предоставляя ему расчитываться кулаками за заваренную им кашу, и Колька Казак, широкоплечий и очень сильный, но недалекий и неповоротливый.

Часто, по вечерам, приятели устраивали состязания по борьбе, из которых победителем всегда выходил Казак, и кулачный бой — бокс, в котором победителем был, всегда, Иванчик.

Однажды, наборовшись, приятели, позвав с собой Иванчика, отправились домой и там сварили манную кашу. Каждый, кроме гостя-Иванчика, имел свою тарелку. Для Иванчика попросили тарелку у хозяйки. Разлили кашу, честно меряя ложкой, по тарелкам. Казак имел необыкновенный апетит и самую большую тарелку. Порция в ней казалась самой маленькой и он ухватился за тарелку Андрея. «Это моя!» — сказал тот. Казак — за другую. Колька забрал, Казак — за третью. Иванчик предъявил свои права. Осталась Казаку его тарелка, а в ней, как он думал, меньше всего каши. Взял Казак тарелку и заплакал с досады. Посмеялись над ним, он рассердился сначала, потом помирились.

Как то приятели собрались у Иванчика. Хозяйка усадила их за стол. Подошел хозяин и хозяйка подала на ужин вкусные галушки. Наевшись начали раз-

говор, только Казак никак не мог оторваться от галушек. Заговорили о любимых кушаниях. Казаку говорить было некогда — занимался галушками.

— А я знаю, что любит Казак, — из озорства сказал Иванчик. — Он любит . . .

— Замолчи! — внезапно перебил тот, поняв что речь может зайти о его смешных слезах из-за манной каши.

— Чего молчать? . .

— Замолчи! — свирепо повторил Казак.

— Не кричи! Ты любишь ман . . .

Казак внезапно поднялся и с размаху ударил Иванчика по губам. За столом замерли. Иванчик напрягся, готовый ответить ударом на удар, и . . . увидел изумленно-испуганное лицо хозяйки.

«Нельзя! — приказал он себе. — Здесь нельзя!»

Потер рукой щемящие губы, потом улыбнулся, будто ничего особенного не случилось, и сел.

На другой день в школе, на переменке, Казак расселся на стенке колодца и поманил к себе пальцем Иванчика. Глядя на надутого важностью Казака, Иванчик, словно и в самом деле признавая себя побежденным, с покорным видом подошел к нему.

— Ты, больше язык не распускай! — важно сказал Казак. — Не то — плохо будет.

— Ладно! — ответил Иванчик, а сам подумал: «Подожди! посмотрим кому плохо будет, дурак надутый!»

Товарищи, видевшие эту сцену, с удивлением и сожалением глядели на Иванчика. Удивлялись покорности Иванчика, зная что он, хотя и был прозван «Любочкой из-за бело-румяного лица, напоминавшего девичье, никогда не сдавался без боя, и сожалели думая, что он, на этот раз, струсил.

После уроков школьная футбольная команда вышла на площадку для тренировки. Иванчик играл правым инсайдом, а Казак — беком. Совершенно неожиданно Иванчик, так чтобы все слышали, сказал:

— Казак! Если ты меня толкнешь, буду тебя бить!

Было совершенно невозможно думать, что бек-защитник может, играя не толкнуть нападающего инсайда. Все поняли, что это вызов, и, зная необыкновенную

силу Казака, с интересом ожидали развязки. Один Казак не принял слов Иванчика всерьез.

Столкнулись... Крепко стегнул Иванчик кулаком по губам Казака, на лице которого появилось тупое изумление, перешедшее в ярость.

Уклоняясь от ударов и яростно осыпая ими неповоротливого Казака, Иванчик думал: «Только не позволить ему схватить! Схватит, — пропал!»

Казак бил, и все — в воздух, а Иванчик — как по неспособной что-либо чувствовать стене. Казак понял, что против быстро и со всех сторон нападающего Иванчика, он не имеет никаких шансов, если не схватит, не задушит. Как медведь, широко растопырив руки, он кинулся хватать.

«Теперь!.. или пропал!» — мелькнуло в голове Иванчика. Пользуясь тем, что Казак шел на него совершенно открыто, Иванчик точно и сильно ударил. Казак остановился, пошатнулся, как хваченный бревном по голове бык, повернулся и побежал. Иванчик догнал и, как по футбольному мячу, ударил буцом по заду.

Все хохотали. Казаку, по традиции школы, ничего не оставалось, как мириться. Мир состоялся тут же, на площадке.

Время шло, настал день окончания школы. На общешкольном собрании преподаватели говорили выпускникам хорошие, красивые слова: желали им всего хорошего в жизни и дальнейших успехов в науках. Иванчик хотел бы учиться в вузе, но знал, что для него, человека второго сорта — социально чуждого, двери высшей школы закрыты. Почему? Ведь он жил, как все, учился — как все, делал все вместе с другими, которые теперь могут идти в вуз, а он... Вспомнил слова отца: «Лес рубят — щепки летят!» и почувствовал себя бессильной щепкой, которая будет лететь, сама не зная куда.

ГЛАВА VII

Мать, посоветовавшись с знакомыми, решила что Иванчик поступит учеником в Паровозные мастерские. Там было много знакомых инженеров и они могли помочь устроить Иванчика.

Рано утром за Иванчиком зашел инженер Багров, много лет пробывший в управлении мастерских, и повел его туда. Прошли через проходную и Иванчика встретил новый мир: глухо били паровые молоты, как пулеметы тарахтели воздушные моторы в руках котельщиков, пыхтели маневровые и выходящие на пробу паровозы. И этот мир принимал Иванчика с обычным шумом и грохотом. Пройдя через огромный двор, Багров подвел Иванчика к большому зданию из красного кирпича, над которым, поднявшись высоко в небо, стояла такая же красная фабричная труба. Обойдя здание, Багров подошел к высокой, обмазанной маслом, двери пристройки, открыл ее и ввел Иванчика в просторное помещение. Повсюду стояли динамомашины и электромоторы, целые и разобранные. Вокруг длинного стола стояли рабочие, ремонтировавшие стоявшие на нем машины.

— Уваров! — позвал Багров. От стола отделился и пошел к Багрову пожилой рабочий с длинными усами, похожий на цыгана.

— Здравствуй, Уваров!

— Здравствуйте, Петр Георгиевич!

— Вот тебе Иванчик. Он будет у вас учеником работать. Береги его, как зеницу ока!

Так стал Иванчик учеником электриком. Сначала его обязанности были не сложны и ему нужно было только стараться делать то, что говорил ему, явно оберегавший его от слишком тяжелых работ, Уваров. Не стало школьника Иванчика, рабочие называли его Ва-

нюшкой, и он быстро привык к этому. Быстро привык и к рабочим. Его только удивляло, что они не были вымазанными и черными, как рабочие других цехов. В представлении его, настоящий рабочий должен был быть, обязательно, черным и вымазанным. А Ванюшка хотел, чтобы его считали настоящим рабочим и мазался, где и мазаться-то было трудно.

В обмоточном цеху, где работал Ванюшка, было немного рабочих и Ванюшка быстро познакомился с привычками каждого. Из всех, его особенно заинтересовал один, выделявшийся нервным и интеллигентным лицом — Иван Иларионович Рындин. Это был худощавый человек с продолговатым лицом, на котором выделялись, горящие нервным огнем, голубые глаза. Когда он говорил, лицо его нервно подергивалось и он заикался. Рындин работал, как и все, но казалось, будто между ним и другими незримая стена. К Ванюшке он относился хорошо.

В начале революции студент Рындин увлекся ею, увидел в ней то, за что стоит бороться и для чего стоит жить. Бескомпромиссно отдал он себя борьбе за то, что считал правым делом. Мир для него разделился на две непримиримые части: рабочие, имеющие право на жизнь, и все другие, обязанные или идти вместе с рабочими, или погибнуть. И он сносил с пути всех, кто казался ему стоящим на пути к светлому будущему, сносил под знаменем и в рядах ЧК. О его кровавых подвигах рассказывали такое, что Ванюшке было страшно. Тот Рындин, с которым работал Ванюшка, вовсе не казался страшилищем. Он, бывший чекист, мирно стоял за рабочим столом, хотя мог бы занимать место покрупней, никакой политикой не занимался и ни в каких политических кампаниях участия не принимал. Что и когда вывело Рындина из ЧК, — не знали. Было только заметно, что он тяготится своим чекистским прошлым и старается его загладить, забыть. Но, очевидно, это ему не удавалось. Нервы его гуляли и были дни, когда он почти не мог работать, так тряслись его руки.

Ванюшка ближе познакомился с Рындиным из-за радио. Радио было тогда новинкой. Многие и вообще не верили, что можно концерты из Москвы по воздуху

слушать. Рындин, первым в Тихорецкой, построил себе детекторный радиоприемник, слушал на нем Москву и, из-за этого, казался Ванюшке чуть ли не магом. О радио Рындин говорил охотно и, заметив интерес к нему Ванюшки, пригласил его к себе — послушать радио. Слушая объяснения Рындина о радиоприеме, о том, как сделан его приемник, Ванюшке казалось, что все рассказы о жестокости Рындина в прошлом — выдумки. О радио Рындин говорил с любовью и старался не показывать Ванюшке свое превосходство. Увлеченный любимой темой он преображался, исчезало нервное напряжение и он переставал заикаться. Ванюшке казалось невероятным, что этот, мягкий и старающийся быть незаметным человек мог, раньше, быть страшным чекистом.

Ванюшка привык к работе и вышел из-под опеки Уварова. Знания, данные ему школой, помогли понять практику работы, руки привыкли к плоскогубцам и молотку и он стал уже равноправным рабочим. Он и чувствовал себя рабочим, жил рабочими интересами и усваивал рабочую психологию. А психология эта была своеобразная. С одной стороны: «мы, рабочие, теперь хозяева», с другой — «тащи, что можно, оно не наше!» Познакомился Ванюшка с этой психологией в первые же дни работы. Нужно было идти в клуб и там осмотреть мотор. Уваров, подготовив, что нужно, велел Ванюшке взять необычно тяжелый сверток «концов» для обтирки мотора и нести. Прошли через проходную

— Молодец! — сказал Уваров. — Несешь, как пылинку.

— А чего они такие тяжелые?

— Увидишь!

Зашли в квартиру Уварова.

— Развязывай «концы», — сказал он, — да смотри, осторожно!

Размотав сверток, Ванюшка увидел манометр и моток проволоки.

— Это мне для мельницы нужно. Буду там ремонт, делать, — сказал Уваров, заметив изумление Ванюшки.

Обмотчики старались получать отпуска летом, перед началом уборки хлебов. Казалось бы, что может иметь

общего рабочий с сельским хозяйством? А общее было. Перед уборкой хлебов ремонтировались частные мельницы. Там были неисправные моторы и динамомашины. Взявшись их отремонтировать, можно было хорошо подработать. Обмотчики заранее договаривались с хозяевами мельниц, подготавливали нужный материал. А самым нужным материалом был обмоточный провод. Его крали на заводе.

Однажды два обмотчика, взяв в цеху моток провода весом пуда в три, решили вынести его за ограду завода. Два других стояли на пустой площади за забором и ждали, когда им перекинут провод. Все было хорошо подготовленно, — делали не раз. Проткнув через моток толстую палку, рабочие вдвоем потащили его к забору. Остальные невозмутимо наблюдали, как «трудятся» товарищи. Вдруг, между стоявшими во дворе паровозными частями, появился смотритель двора Диденко. Его появление было более чем нежелательно. Он был служака способный на все, чтобы угодить начальству. Человек он был недалекий и про него рассказывали много комичного, случавшегося с ним из-за стремления угодить. Однажды ему пришлось говорить по телефону с начальником, который, слушая его несуразные объяснения, рассердился и закричал в телефон: «Ты что, Диденко, несешь? Пьяный, что-ли?» Диденко весь изогнулся, загородил рот рукой, думая что начальник и по телефону может заметить запах спирта, и заклялся в своей трезвости. Этот Диденко увидел тащивших моток рабочих и захотел выслужиться, лично поймав воров. Как кот стал он красться к забору. Тащившие проволоку тоже его увидели и один из них, после того как моток был затащен за большую деталь, стал красться к Диденко. Было смешно смотреть, как они крались один к другому. Прячась за большим ящиком, Диденко уже почти подкрался к оставшемуся у мотка, как, совершенно для него неожиданно, перед ним вырос другой и со всего размаха хватил его по зубам. Забыв про моток, Диденко кинулся на обидчика, а тот кинулся бежать. Диденза ним, спотыкаясь о разбросанные по двору части. Беглец кинулся к трубному цеху, где стоял грохот невероятный и где можно было легко спрятаться. Тем вре-

менем моток, при помощи прибежавших рабочих, был перекинут через забор и там благополучно принят. Все вернулись в цех, а через несколько минут к ним присоединился рабочий, увильнувший от погони. Когда, проклиная все на свете, в цеху появился Диденко, никто ничего не знал, никто ничего не видел. Так и ушел Диденко ни с чем. После его ухода, посмеявшись, вдоволь, устроили выпивку, для чего использовали, применявшийся для изоляции, спиртовый лак. В банку с лаком опустили устройство вроде пропеллера и, покрутив его, отделили спирт от краски и выпили на здоровье.

В 1927 году на заводе произошли большие перемены. На смену старым специалистам, в большинстве арестованным, пришли выдвиженцы. Арестовали и заведующего электростанцией, старого техника. Его место занял выдвиженец, слесарь Иващенко. Это был недалекий, но зато очень много ораторствовавший на собраниях, человек и старый партиец. А это было главное.

Ванюшке к новому начальнику привыкать не пришлось. Первым мероприятием Иващенки было — очищение его цеха от всяких «врагов». Вот и вычистил Иващенко Ванюшку. Случилось это так: новый начальник пришел в цех, важно оглядел всех и, подойдя к Ванюшке, сказал: «Хватит тебе белоручничать! Иди, переварись в пролетарском котле!»

«Переваривание» началось с того, что Ванюшку назначили подручным слесарем в тендерный цех, не имевший закрытого помещения. Работать нужно было, в любую погоду, на дворе. К счастью, мастером цеха был старый техник и Ванюшке не нужно было опасаться незаслуженных придирок со стороны нового начальника. Работа показалась Ванюшке не сложной и он легко с ней освоился. Его поражало, что работавшие в цеху работали по старинке. «Не думают, не могут думать! — рассуждал он. — Но это вовсе не значит, что и я должен, как они, работать и не думать!»

Работали в цеху сдельно. Заработок определялся в зависимости от выработки и распределялся по квалификационным разрядам. Сáмый высокий разряд слесаря был шестой, а Ванюшке дали самый низкий — тре-

тий. Самой низкой в цеху была и его заработная плата.

Вначале Ванюшку посылали на самые грязные работы и тут, уже не по желанию стать «настоящим рабочим», а по нужде, он вымазался и стал черным от макушки до пяток.

Мастер цеха, несмотря на то что Ванюшку прислали в цех для «переварки в пролетарском котле», определил его в бригаду, выполнявшую работы требовавшие квалификации. Рабочие бригады чувствовали себя аристократами, имели право командовать другими рабочими и очень гордились этим. С большим удовольствием они использовали возможность покомандовать «буржуйским сынком». Ванюшка испытывал на себе желание рабочих показать себя, унизить того, кого они, в глубине души, считали стоящим выше себя. Стремление Ванюшки вносить новое, рациональное в методы работы, натолкнулось на отпор бригады. То и дело он слышал: «яйца кур не учат!», «мы тебя, выскочку, проучим!». Работали в бригаде парами — слесарь и подручный. Слесарем Ванюшке дали глуповатого старика, переведенного в цех с закрытой из-за ненадобности водокачки. Старик мало понимал в слесарном деле, но имел большой стаж и, как машинист водокачки, шестой разряд. Этот разряд ему оставили и при переводе в цех. Послать его на самостоятельную работу было невозможно, дать ему в пару слесаря — нельзя, ни кто не захотел бы делить с ним заработок, вот и послали его работать в паре с Ванюшкой. Знали, что тот уже может за слесаря работать и радовались тому, что незнающий старик будет командовать знающим «буржуйским сынком». Положение Ванюшки было не из приятных. Официально он был подручным и должен был подчиняться слесарю, а практически его «слесарь» мог работать только подручным, и, значит, выполнять указания Ванюшки. «Слесарю» не оставалось другого выбора и он должен был выполнять указания Ванюшки, но делал он это так, что тому, иногда, хотелось его хватить по голове молотком. Самолюбие «слесаря» страдало и, при всех удобных случаях, он старался показать свою власть. То и дело Ванюшка должен был выслушивать поучения, что «яйца кур не учат!», «я давно забыл, что

ты знаешь!» и т. д. Ванюшку это злило и он старался насолить своему «старшему». Делал он это с самым невинным видом и так, будто и не думал «на зло» сделать. Однажды нужно было расширить дыру для болта в массивной, в полметра толщиной, чугунной плите. Для этого применяли пневматический мотор в пару лошадиных сил вертевший конусную развертку. Ванюшка знал, что развертку нужно опускать в дыру осторожно, иначе она «заест». Зная, что «слесарь» не знаком с управлением пневматическим мотором. Ванюшка воткнул развертку в дыру, как можно глубже, и с самым невинным видом, сказал:

— Это, лучше, вы делайте! Тут сила нужна. Я вам воздух открою.

— А что ж тебе еще делать? Все учить лезешь! Давай, включай воздух!

«Слесарь» важно ухватился за ручки мотора и принял позу «специалиста», а Ванюшка, злорадствуя, отправился к воздушной колонке.

С шипением наполнил сжатый воздух длинную, вьющуюся по земле, как змея, резиновую кишку-шлангу, задвигавшуюся как живая. Затарахтел мотор. «Слесаря» рвануло и закрутило. Он, с перепугу, закричал:

— Стой! стой! Держи, дер-жи-и!

Мотор крутил «слесаря», как волчок, и было смешно смотреть на крутящееся, с раскрытым ртом и торчащими, от центробежной силы, в сторону усами, перепуганное лицо его. Ванюшка, давясь от смеха, держал в руке кран и делал вид, что растерялся и не знает, что делать. Шланга наматывалась на мотор. «Порвет шлангу, деду плохо будет! — подумал Ванюшка. — Платить ему придется!» и ему стало жаль старика. Одним движением закрыл он кран, мотор сделал еще пару оборотов и стал. Подбежавшие рабочие сняли с мотора, закостеневшего от страха, старика. Все знали, что мотор можно в любой момент остановить, повернув ручку, за которую его держат во время работы. Никто не догадывался. что «слесарь» не знал этого. А он, сгоряча не соображая что делает себя смешным, захлебываясь от злости, закричал:

— Чортов щенок! Воздух открою... Стервец проклятый!.. Мать твою ...

— Чего кричите? — перебил Ванюшка. — Закрыли бы воздух и, всё...

— Закрыли, закрыли... щенок сопливый! — начал было «слесарь», и, заметив, что окружающие смотрят на него с усмешками, пробурчал. — Подожди, я тебя...

Тут вмешался бригадир. Повернув к Ванюшке искаженное злобой лицо, он сказал:

— А ты, не строй рожу!.. Ангел невинный... только пакости в голове. Учить всех стараешься... мы из тебя дурь выбьем!

И выбивали. Все попытки Ванюшки продвинуться, получить больший разряд, оставались безуспешными. Бригадир всегда давал начальству о нем плохую характеристику.

«Старого специалиста» мастера убрали. На смену пришел выдвиженец. Перспективы Ванюшки ухудшились. Он ждал, что его, чтобы получше «переварился», пошлют на какую-нибудь работу похуже, и искал выход. В бригаде был слесарь коммунист Рябовол. Человек он был не плохой, но самовлюбленный. Своим подручным не позволял и рта открывать. Всё он знал, во всём разбирался и, хоть и глупости говорил, приходилось ему подчиняться. Из-за этого никто из подручных работать с Рябоволом не хотел. А, к тому же, и зарабатывал он, работая по «старинке», немного. Ванюшка решил предупредить события и отправился к бригадиру.

— Товарищ Самойленко! Пошлите меня подручным к Рябоволу.

— К Рябоволу? Чего это тебе к Рябоволу захотелось? — начал бригадир с явным намерением отказать, но подумав «Рябовол ему духу даст!» — сказал. — Ну, что ж, иди! Поучись работать.

Придя к Рябоволу, Ванюшка принялся во всем угождать тому. Помня, что все его попытки внести в работу новое, рационализировать ее, приводили только к огорчениям, он придумал новую тактику. Получив от Рябовола указания, что и как делать, он немедленно принимался за работу, потом, будто вспомнив, говорил:

— Товарищ Рябовол! .. Вот с этим . . .

— Что еще «с этим»?

— А вот, Вы говорили, что можно делать так . . . — Ванюшка излагал свой метод.

— Я говорил? .. Да, конечно . . . Раз я говорил, так и нужно делать!

И делали.

Заработок Рябовола рос, росла и его популярность как хорошего работника. На собраниях стали говорить об ударнике Рябоволе, приводили его, как пример другим. Это льстило Рябоволу и он стал заступаться за Ванюшку когда того ругали, похваливать его, как старательного подручного, который слушается его, Рябовола, и потому хорошо работает. Рябовол даже добился, чтобы Ванюшке повысили разряд.

*

На ремонт пришли паровозы нового типа. Стали их ремонтировать и столкнулись с трудностями. Каждый раз получался брак. Мастер цеха рвал и метал. Ему грозили большие неприятности. Ясно было, что дедовские методы работы не годились, но новых найти не могли. Ванюшка смотрел как работали другие и думал: «Вот работают по старинке, а тут нужно немного геометрии, немного рассчитать и все будет в порядке». Подумал, вычертил, подсчитал и отправился к мастеру.

— Иван Тимофеевич! С работой неладно, брак сплошной . . .

— Знаю, что брак! — окрысился мастер. — А ты что? .. Тебе что нужно? ..

— Да я, Иван Тимофеевич, могу без брака сделать.

— Что ты там еще можешь? — перебил мастер, но вспомнив безвыходность положения, сказал. — Если можешь, делай!

— Да вот, Иван Тимофеевич, с другими вместе я работать не могу.

— Почему?

— Им показывать надо, как делать. А они меня слушать не станут. «Яйца кур не учат!» — съязвил он.

— Так что же ты хочешь?

— Дайте мне подручного в пару . . .

— Тебе, подручного? Да ты сам — подручный!

— Ну и что ж? Попробуйте!

— Попробуйте, попробуйте! .. А еще что нужно?

— Еще нужно, чтобы мне никто не мешал. Мы сами работать будем.

У мастера не было выхода и он согласился.

Получив подручного, взрослого человека недавно пришедшего на завод из села, но имевшего такой же разряд, как Ванюшка, он принялся за работу. Слесаря косо посматривали на работавшую пару. Самолюбие их было ущемлено и они злорадствовали в ожидании провала затеи.

К концу рабочего дня, первый самостоятельно ремонтированный Ванюшкой паровоз был готов. Слесаря второй смены должны были его отправить на пробный пробег. Ванюшка хотел посмотреть, как его паровоз пойдет на пробу, и остался в цеху. Дымя и посапывая подошел маневровый паровоз, чтобы взять пробный. Прицепился и потянул. Ванюшка услышал разноголосый писк, прислушался: «Мой паровоз пищит! — подумал он. — Не смазали!» и, желая остановить маневровый паровоз, крича и размахивая руками, кинулся к нему.

«Сволочи! — думал Ванюшка, смазывая паровоз. — Сухой на пробу пустили, чтобы подшипники расплавились! А потом сказали бы, что я все плохо сделал».

Хорошо смазанный паровоз благополучно выдержал пробу.

На другой день Ванюшку вызвали в канцелярию, к мастеру. Довольный результатом пробы мастер сказал:

— Бери другой паровоз и делай! Говори, что для тебя подготовить нужно. Сам делай только главное.

И второй, и третий паровозы благополучно выдержали пробу. Недовольные тем, что им приходится работаь на второстепенных работах слесаря бурчали:

— Сопляк нами командует! .. А что он особенное? Делает, как и мы делали.

Уговорили мастера дать им, еще раз, для ремонта паровоз. Остались все во вторую смену, чтобы работать без Ванюшкиного надзора.

Утром Ванюшку вызвал мастер.

— Знаешь, что твоя бригада наделала?

— Нет! А что? ..

— Все подшипники «зарезали»! — со злобой сказал мастер. — Пойди посмотри, может еще поправить можно? ..

Ванюшка пошел: посмотрел, подумал и вернулся к мастеру.

— Ну что? .. — нетерпеливо встретил его мастер. — Можно исправить? ..

— Можно! Только прикажите бригаде, чтобы делала все, что я скажу!

— Давай, давай! — обрадовался мастер. — Идем в цех!

Испуганные ответственность за сделанный брак слесаря послушно выполняли указания Ванюшки, а он командовал ими, как мальчишками. «Зарезанные» подшипники удалось исправить. С тех пор Ванюшку мастер стал посылать на самые ответственные работы и за один месяц он несколько раз получил повышение в разряде, пока не достиг разряда высшей квалификации.

Работать механически Ванюшка не мог. Ему хотелось изобретать, улучшать методы работы. И он думал, изобретал, усовершенствовал. В цеху появились, придуманные Ванюшкой новые инструменты облегчавшие и ускорявшие работу. Это дошло до месткома и, по его рекомендации, Ванюшку выбрали председателем Производственного совещания. В это время стали особенно вводить ударничество, кричали на собраниях о нем, требовали повышения производительности труда и повышали нормы выработки. Перед рабочими стала задача: работай качественно, нормы не выполнишь, лодырем назовут; норму выполнишь — брака наделаешь. Но норму нужно было, во что бы то ни стало, выполнять. Делали и всячески скрывали брак, старались свалить вину за него, на кого только можно было. А такими, на кого можно было, были всякие «бывшие» и «из бывших».

Ванюшка, увлеченный ролью председателя Производственного совещания, стремился сократить брак, найти и устранить причины вызывающие его. Недобро-

качественные детали шли из цеха в цех, улучшать их было некогда, недостатки прибавлялись и, в конечном счете, деятельность цепочки вынужденных бракоделов могла привести к срыву всей производственной программы. Ванюшка видел это и попытался сделать, что мог. Отправился к мастеру цеха, объяснял, убеждал, но, поняв что мастер бессилен, дошел до директора завода. Успеха своих стараний он не заметил. Раздумывая о причинах этого, он шел по цеху, когда его окликнул партиец маляр, председатель заводского Товарищеского суда. Недобро улыбаясь он подал Ванюшке бумажку.

— Вот, повестка!

— Какая повестка? ..

— Читай, узнаешь!

Ванюшка прочел: « ... предлагается вам явиться в Товарищеский суд в качестве ответчика за сделанный брак» ... С недоумением поглядел на маляра и сказал:

— Почему «в качестве ответчика?»

— А вот, придешь, увидишь! — злорадно сказал маляр.

Идя с работы Ванюшка увидел на огромной «черной доске», на которой записывались для всеобщего порицания имена «лодырей», «рвачей», «лжеударников», свое собственное имя. Растроенный и угнетенный свалившимся на него несправедливым обвинением он, придя домой, поел без апетита, переоделся и пошел в Товарищеский суд. Знал, что от «товарищеского» суда до суда настоящего — недалеко.

Придя в клуб, находившийся в помещении закрытой церкви, где заседал Товарищеский суд, сел на скамейке против сцены устроенной в бывшем алтаре, и огляделся. Прямо перед ним, за покрытым красной материей столом, заседал суд. Зал был полон рабочими, среди них большинство знакомых, которые «не узнавали» его. В первом ряду сидела администрация завода.

Председатель суда начал читать обвинение. По мере чтения Ванюшка, все более и более успокаивался, — речь шла о том самом браке, из-за которого он ходил к мастеру цеха и директору завода. «Номер не пройдет!» —подумал Ванюшка. Председатель суда, кончив чтение, сказал:

— Обвиняемый, что вы можете сказать?

Ванюшка рассказал, как было дело. Мастер цеха и директор завода подтвердили и в суде наступила минута растерянности. Наконец, председатель суда сказал:

— Товарищ, желаете ли вы привлечь клеветников к ответственности?

— Нет! Не желаю! — ответил Ванюшка и подумал: «Что там, «к ответственности»? Все, один на другого свалить стараются!»

Вечером остался дома. Матери о суде не стал рассказывать — не хотел зря тревожить. Хотел было читать, но мысли о суде отвлекали. Решил лечь спать, чтобы про все забыть. Лег, ворочался и думал:

«Вот, сегодня на «черной доске» и знакомые «не узнают». А сами, похуже того, в чем меня обвиняли, делают. Они — пролетарии! А что за заслуга быть пролетарием? От кухарки и дворника родился и — пролетарий! А что за заслуга — родиться? Никакой заслуги! Следствие обстоятельств и животного влечения».

Тут он вспомнил, как маленьким ехал с Марусей в поле, пасти Макрину, и спросил: «Маруся, а как получается, что люди родятся?» Маруся посмотрела на него и сказала: «Как кошки и собаки». Вспомнил, как Маруся, после того как он начал работать, сказала: «Вот, Наталья Павловна, Иванчик уже работает, большой стал. За ним уже не надо присматривать. Пора и мне о своей жизни подумать, — замолчала на мгновение и решительно продолжала, — я поеду к сестре в Ростов и там останусь. Может и человек найдется хороший — замуж выйду!» Вспомнил и отъезд Маруси — простой, будто расставание было делом самым обыкновенным: вспомнил письмо, в котором Маруся писала, что вышла замуж и довольна жизнью.

Услышал, что мать в столовой достает чашку из буфета и подумал: «Собирается чай пить. Пойду и я чай пить, все-равно не спится!»

Мать увидела его, посмотрела внимательно и сказала:

— Ты же сказал, что спать хочешь! Чего же не спишь?

— Не спится! Ты собираешься чай пить, налей и мне.

Она налила ему стакан чаю, поставила на стол и спросила:

— А есть хочешь?

— Нет, есть не хочется!

Ванюшка положил сахар, размешал и вдруг спросил:

— Мама, правда что все помещики и капиталисты зверями были?

— Ах, что ты? Вовсе они такими не были! Разве Тургенев зверем был? А капиталист Морозов?

— Тургенев, Морозов — это одиночки. А Салтычиха?

— Салтычиха — тоже одиночка! — и улыбнулась. Вот, слушай! Твой дед, Павел Константинович, был богатым помещиком. Именьями сам не управлял — некогда было. Всеми делами управляющие да приказчики ведали. Он и не знал, что в деревнях делается. Как и большинство тогда, вольнодумцем был. Я как вспомню, какой скандал из-за его вольнодумства получился, и сейчас смешно. Приехала я из Франции почти двенадцати лет и по-русски едва говорила. Поступила в Полтавский институт благородных девиц. После французских учительниц-монашек, институтские мне лучше не показались. А классные дамы! Чопорные, учили как вести себя в обществе, а о жизни настоящей — ни слова! Да, больше того, — от жизни нас прятали, от знакомства с ней, как от чего-то неприличного, оберегали. Вот и росли мы такими, что думали — хлеб печеный прямо в поле растет. Задал мне батюшка молитву выучить — Богородице, Дево радуйся! . . Учила я, учила. Вызвал меня батюшка и говорит: «Прочтите молитву!» Я и начала — Богородице, Дево радуйся! — а дальше, как от отца слышала.— Благодатная Мария, лето красное пропела, оглянуться не успела, яко Спаса родила! Батюшка и рот открыл от удивленья, а классная дама чуть в обморок не упала. А я и не понимаю, что сказала. Скандал в институте получился невероятный. Губернаторская дочка и такие «молитвы»! Да как раз потому, что «губернаторская дочка», все замяли. Только дед твой меня, смеясь, пожурил . . . А он строгий был. Помню, подали на стол клубничное варенье в вазочках. Я

попробовала, понравилось, съела и говорю: «Жаль, что мало. Я такого варенья целую тарелку съела бы!» Посмотрел папа на меня и говорит: «Наташа, думай что говоришь!» А я свое: «Конечно, съела бы!» Повернулся твой дед к лакею и говорит: «Принесите барышне Наталье Павловне тарелку клубничного варенья!» Сижу и радуюсь! Принес лакей варенье, съела я немножко и отодвинулась, а папа говорит: «Ешь, Наташа!» И заставил все съесть. С тех пор я клубничного варенья года два и видеть не могла.

— Это ты, про варенье, а я спрашивал про помещиков? — сказал Ванюшка.

— Да это же и о помещиках! Вот твой дед, я говорила, и вольнодумцем, и строгим был. Делал все, как велела ему совесть и долг, как он его понимал. Если в чем и ошибался — не его вина! Учили его, как и нас институток, от жизни пряча . . . Были у нас дворовые и крепостные. Дворовые — тут, рядом, а крепостные — где-то в деревнях. О них твой дед из книжек знал, да из докладов управляющих. Вот, когда настало освобождение крестьян — папа рассказывал, радовался он, что люди свободными станут. Стал дворовым отпускные давать, а они стоят, хмурятся. Удивился он и спрашивает: «Вы чего хмуритесь?» Молчат, потупились. Посмотрел на них твой дед и говорит: «Акимыч! —это был самый старый дворовый. — Скажи, чем недовольны?»

Взглянул на него Акимыч, и ответил:

«Воля Ваша! Коль приказываете, скажу! Я и папеньке Вашему служил, и Вас на руках носил. Мы, дворовые, верой и правдой служили . . . И больно уж нам обидно, что Вы нас, теперь, прогоняете!»

Вот тебе и «замученные помещиками»!

— Это дворовые! А крестьяне? Если бы все хорошо было, революции не делали бы! — вставил Ванюшка.

— Крестьяне? Крестьян помещики не угнетали!

— А кто же угнетал?

— Свои же, выходцы из крестьян, угнетали. Я, когда в Видневку приезжала, на крестьян смотрела и по Некрасову думала — бедные, несчастные. А они вовсе несчастными не выглядели. А я все несчастных искала.

Увидела, что объездчики порубщика поймали: вот, думаю, бедный несчастный мужичек. Велела ему в именье ехать. Сказала, чтобы ему нагрузили на воз мешок сахара, мешок муки и еще всякую всячину. Мужик грузить помогает, а я смотрю и радуюсь, вот, думаю, облегчу судьбу его. А он, как я теперь думаю, тогда надо мной посмеивался. Знаешь, с этой Видневки, я получала двенадцать тысяч рублей дохода — с лесного хозяйства. Это приказчик пересылал, а сколько в действительности было дохода я и не знала. Да и не думала об этом. Только после революции узнала, что приказчик меня, где мог, обманывал. Помнишь, когда у нас сын видневского священника был, он про приказчика рассказывал . . .

Ванюшка вспомнил, как перед уходом белых, мать привела со станции раненого. Это был сын священника из Видневки. Вспомнил Ванюшка и его рассказ:

«Были мы на позиции, в окопчиках перед деревней. Нажали на нас красные и стали мы отходить. А красные, как черти прут! Прилягу, выстрелю, и назад. Добрался так до площади деревенской, смотрю — колодец кирпичный. Вот, думаю, за ним спрятаться можно. Да, только к нему, как хватит меня по шее! Не успел и понять, что случилось, а тут по груди стукнуло, прямо против сердца. Ну, подумал, убит! Упал, сознание потерял. Очнулся, на самой площади стреляют. Вижу — красные! Хотел встать, не могу! Уцепился за стенку колодца, подтянулся и, бултых в воду. От холода в уме прояснилось. Стою, а вода — по шею, холодная . . . А крикнуть боюсь, красные в деревне. Слышу стрельба усилилась, суматоха какая-то началась. Потом, вроде наши кричат. А мне уже стоять невмоготу стало. Стал на помощь звать. Вытащили свои.»

Вспомнил Ванюшка, как тогда все удивлялись необыкновенному счастью раненного: пуля, что попала в шею, пробила кожу на горле и вышла на затылке, а горла не повредила, а та, что в грудь, прямо против сердца, ударила, скользнула по ребру и вышла на спине.

— А что же он тебе рассказал? — напомнил Ванюшка.

— Кто?

— Сын видневского священника.

— А... что он мне рассказал? Он рассказал, про Ефима, приказчика, что Ефим на порубщиках наживался. Крестьяне видневские нужды не знали. Кругом сахарные заводы Харитоненко и подработать всегда можно было. Да и со своей земли урожаи неплохие были. Только леса не было у них. Лес именью принадлежал. Вот и привыкли мужики, как нужен лес — у меня рубить. А Ефим с объездчиками, подкараулит порубщика, поймает, в штаны крапивы набьет, и гонит в усадьбу. Лошадь с подводой в залог оставит, а мужика за выкупом пошлет. Я об этом, конечно, ничего не знала. И порубщик — мужик, и Ефим — мужик. Так мужик мужика и притеснял. А вину — на помещиков свалили. А что про кулаков говорят, тоже ерунда. Те, которых сейчас кулаками называют, — вовсе и не кулаки, просто богатые мужики! Настоящие кулаки, не столько мужиков, сколько помещиков притесняли. Да, не смотри удивленно! Был у нас один такой — Пузына. С управляющими. да приказчиками всякие комбинации делал. Так устраивал, что помещикам приходилось землю продавать, а он скупал, да богател. Такой богатый стал, что куда мне до него было! А в своем обиходе ничего не переменил. Приедет на простой линейке, в сером полушубке, сапоги смазные, дегтем пахнут — мужик да и только! Меня все Наташечка звал. Старый уже был, можно было позволить, — мать улыбнулась своим воспоминаниям, — а раз приехал и говорит: «Наташечка! Вот Вы ездите в Париж, а я, нигде, кроме Сум и не был. Возьмите меня с собой в Париж! Уж больно мне поглядеть хочется, как немцы живут!» Поехали мы в Париж, а Пузына и переодеться не захотел: так в бараньей шапке, да в смазных сапогах и поехал. Пошли Париж смотреть, а мальчишки следом бегут, смеются, свистят, на Пузыну пальцами показывают. Захотелось Пузыне и в обществе побывать. Пристал, возьмите с собой, как пойдете в гости! А тут, как раз, княгиня С-кая на банкет приглашает. Рассказала я ей про Пузыну, а она и обрадовалась случаю оригинала посмотреть. Поехали мы на банкет. Пузыну, в смазных сапогах, усадили за стол. Смотрят на него, дивятся и со смеху да-

вятся — так чтобы он не заметил. А перед Пузыной, на столе, стоял стакан с розовой водой, чтобы рот после еды полоскать. Пузына смотрел на него, смотрел, взял да и выпил воду. Смешно до того, что за столом, от смеха, чуть не подавились. Да ... Пузына ...

Ванюшка вспомнил Видневку. На возвышении стоял большой помещичий дом. Фасад его выходил в огромный фруктовый сад занимавший весь склон и опоясанный кирпичным забором, похожим на крепостную стену. За забором была река с запрудой, а за ней — село. Дом был построен из толстых, человек не обхватит, дубов и выходившие в сад окна были метра на четыре подняты над землей. Вдоль всего фасада, проходил, под окнами, настил с перилами, чтобы можно было закрывать и открывать массивные ставни. Передняя дверь выходила на высоко поднятый над садом балкон с широкой, спускавшейся в сад, лестницей, а задняя дверь — на террасу с колоннами, выходившую прямо во двор, занимавший весь, сделанный плоским, верх горы и окруженный, таким же как сад, забором. Во дворе были служебные постройки, домик, где жил приказчик и школа, выстроенная матерью. Комнаты в доме, за исключением расположенных по обе стороны длинного коридора комнат для гостей, были огромные. Мебель была построена на месте и вынести ее из комнат, из-за ее размеров, было невозможно. Библиотека была полна шкафами с пожелтевшими от времени книгами в кожаных переплетах.

Вспомнил Ванюшка и про свое приключение в часовне-склепе, стоявшей у забора в конце сада. Он, тогда маленький Иванчик, увидел часовню и спросил, что это такое, ему сказали что это склеп где похоронены его предки. Ему захотелось осмотреть часовню — он подумал, что найдет там что-то таинственное и интересное. Оставшись в саду один, он пробрался через окружавшие часовню кустарники и очутился перед массивной, запертой ржавым висячим замком, дверью. Убедившись что дверь открыть нельзя, он пошел вдоль стены с обсыпавшейся, местами, штукатуркой. Дошел до окна с выбитыми стеклами, вскарабкался на подоконник и увидел квадратное, совершенно пустое по-

мещение с каменным полом. Середина пола была взломана и вокруг дыры валялись покрытые пылью кирпичи. Иванчик пролез в окно, спрыгнул на пол. В часовне, от его прыжка, гулко охнуло и он вздрогнул. Ему показалось, что кто-то застонал. Преодолев страх, осторожно ступая дошел до дыры в полу и заглянул в нее со страхом, ожидая увидеть гробы предков, но ничего, кроме непроглядной темноты не увидел. Черное отверстие ямы страшило его. Отошел на шаг, постоял нерешительно, и, влекомый непреодолимым любопытством, придвинулся к дыре и заглянул в нее. Темно! Лег на пол у дыры, осторожно, боясь что его «что-то» схватит, опустил руку во тьму и вдруг «что-то» закричало страшным, визгливым, нечеловеческим голосом. В невыразимом ужасе Иванчик вскочил и бросился к окну, пролез через него царапая себя оставшимися в раме осколками стекла и спрыгнул на землю. «Что-то» опять страшно крикнуло. Он кинулся, продираясь через кусты, прочь от склепа, выскочил на аллейку и перевел дух. «Что-то» опять крикнуло, и Иванчик узнал — гармошка! За часовней, кто-то еще раз дернул взвизгнувшую при этом гармошку и заиграл деревенский танец.

«Да, тогда испугался гармошки, — подумал Ванюшка, — а теперь? Теперь, иногда боюсь о прошлом думать! Много в нем страшного! Разве не страшно, что они в восемьнадцатом году сад вырубили, дом разломали, библиотеку уничтожили — без смысла, без цели. Из книг дорогих, старинных, цыгарки крутили! Это страшно!»

— Да, это вспоминать страшно! — громко сказал он.

— Что же тут страшного, про Пузыну вспоминать? — удивленно сказала мать.

— Да я, не про Пузыну. Вообще, страшно вспоминать! — взглянул на часы, вспомнил, что завтра рано вставать и сказал. — Пойду спать!

Идя на работу Ванюшка поглядел на «черную доску». На ней его имени не было, а на «красной», где записывались имена «лучших», оно красовалось. Это загладило вчерашнюю обиду. «Нет, они меня «бывшим» не считают! — подумал он. —Да я и не «бывший».

ГЛАВА VIII

По субботам ребята иногда устраивали, в складчину, вечеринки. На этот раз вечеринку устраивали у Ванюшки и, как хозяин, он должен был сделать закупки. Это не заняло много времени. Купил четверть самого дешевого вина для ребят, чтобы могли много пить и не пьянеть, бутылку водки для барышень, чтобы могли жеманиться и все-таки быть навеселе, да несколько кулёчков дешевых сладостей. Мать приготовила, из имевшихся дома продуктов, съестное; сварила вишневый сироп и смешала его с водкой, — получился сладкий ликёр. Оставалось ждать гостей. Каждый из ребят должен был привести с собой одну барышню, а один — двух, одну для себя, другую для хозяина. Первым пришел Гаврюшка Симкин с Варей и Милочкой. Гаврюшка был начинающим художником, Варя и Милочка были ученицами старшего класса средней школы. Милочка — жгучая брюнетка среднего роста, полненькая и хорошенькая, как куколка. Варя — блондинка, стройная, крепкая, казавшаяся старше ее семнадцати лет, с одухотворенным, можно бы сказать, красивым лицом, если бы его не портил слишком высокий лоб. За ними Андрюшка Перекрестов с Нюсей, продавщицей из кооператива, девушкой лет восемнадцати, высокой шатенкой с сильными бедрами и высокой грудью. Потом Колька Хаустов с Любой, тоже ученицей, худенькой брюнеткой с острым, птичьим лицом. Наконец Петька Гордеев, коллега Ванюшки по заводу, с Ганей, крупной и бабистой конторщицей.

Разместились за столом, мать принесла съестное, налили бокалы и рюмки.

— За общее счастье! — предложил Гаврюшка.

Чокнулись. Ребята выпили вино, как водку — залпом, а девушки крепкий «ликер» — смакуя. Второй,

третий тост и первоначальная стесненность прошла. Затеяли игры. Сначала «Флирт», потом отодвинули в сторону стол, расставили стулья по кругу и начали «в моргуна». На стулья сели девушки, за стульями стали ребята. Они, по очереди, должны были моргать какой-нибудь девушке, та должна была вскочить со стула и перебежать к моргнувшему ей. Если стоявший за стулом успевал ее удержать, он имел право на один поцелуй. Моргали, вскакивали, ловили, целовали.

У Ванюшки на стуле Милочка. Каждый раз, когда она пыталась вскочить, он ловил ее. Прикосновение к упругому телу было приятно, а поцелуй хмелил.

Андрюшка моргнул Милочке, она так быстро вскочила, что Ванюшка не успел ее поймать. От Андрюшки к нему пересела Варя. Гаврюшка моргнул ей, она хотела вскочить, но Ванюшка поймал и поцеловал. Опять хотела вскочить, опять поцеловал. Надоело. А Варя, каждый раз, вскакивала так, что трудно было ее не поймать. Наконец, Ванюшка так неповоротливо словил, что ей пришлось перебежать. К нему пересела Нюся. Ванюшка с удовольствием смотрел на ее высокую грудь и крепкие, вырисовывающиеся под обтянувшим их платьем, бедра. Петька моргнул Нюсе, она привстала, Ванюшка обхватил ее, почувствовал тугое тело и прижался к мягким податливым губам. От Нюси шло что-то пьянящее, зовущее. «Досадно, что у всех на виду!» — подумал он и, как разгадав его желание, Колька предложил: — Давайте «в почтальона!»

Ребята поддержали, девушки не возражали и начали «в почтальона». Первыми, по жребию, должны были идти в соседнюю темную комнату Ванюшка с Варей. Игра заключалась в том, что кавалер должен был спросить у барышни, сколько почтовых марок клеить и, получив ответ, «приклеить» указанное число марок-поцелуев.

— Сколько? . .

— Одну! . .

Ванюшка, без особого рвения, «прилепил марку». Теперь он должен был выйти и позвать нового почтальона.

— Кого?

— Гаврюшку.

Вышел. Его встретили смеясь, веселые и ждущие.

— Гаврюшка, иди! — а сам сел рядом с Нюсей, загадочно поглядевшей на него, не то оценивающим, не то зовущим взглядом.

От «почтальона» вышла Варя и позвала к нему Нюсю. Нюся, вставая, поглядела зовущими глазами на Ванюшку и смеясь ушла.

Очень скоро вышел «почтальон» Гаврюшка и едва скрывая досаду, что Нюся так быстро его отпустила, сказал: — Ванюшка, иди! .. Нюся зовет!

В полутьме едва видно лицо Нюси. Подойдя вплотную, почти касаясь ее, спросил: — Сколько? ..

— Одну ... — задорно-двусмысленно прошептала Нюся.

Крепко впился в податливые губы. Почувствовал прильнувшее крепкое тело. Не хватило воздуха. Оторвался, вздохнул и, чувствуя зов прижимающегося тела, опять прижался к горячим, отвечающим губам ... Нюся обхватила его, потянула и они повалились на стоявший рядом диван ...

— Эй, вы, почтари! — вырвал из опьянения голос Андрюшки. — Что там, жениться, что ли, вздумали?

— Пусти! .. — прошептала Нюся. — Слышишь, зовут! Позову к тебе Варю! Хорошо?

— Зови ...

В рамке дверей Варя. Подходит. Еще весь в жару, опять почувствовал раздражающий запах духов и тела и, не думая о том, чье оно, обнял, притянул к себе, ощутил упругую грудь и влажные, горячие губы. Оторвался. Варя, безвольно прильнула к нему. Вспомнил, что нарушил правила игры.

— Сколько? ..

Варя молчала тяжело дыша.

— Сколько? — переспросил он.

— Сколько хочешь ...

Ответ изумил Ванюшку, изумил и отрезвил, почти испугал. «Что с ней? — подумал он. — С ума сошла, что ли?» Чтобы не обидеть, поцеловал ее и опять почувствовал что хмелеет. Оторвался и почти грубо сказал: — Кого?

Варя поняла, что он хочет уйти и в каком-то порыве, сказала: — Ваня, приходи ко мне в субботу!

— Угу... — пробурчал он, не решаясь прямо отказать.

На рассвете, разведя барышень по домам, ребята разошлись. Ванюшка полной грудью вдыхал прохладный утренний воздух и думал: «Как хорошо! А вот, всю ночь проканителился в духоте с девчонками, обнимал, целовал, казалось — всё в них, а ушли они и — чужие». Вспомнил про Варино приглашение. «Ах, чепуха! Не пойду!»

В субботу вечером оделся и... пошел к Варе. Шел и сам себя оправдывал — «Ничего особенного, только из любопытства! Посмотрю и уйду!»

Варя встретила его радостно и застенчиво. Ввела в комнату освещенную мягким светом стоявшей на столе лампы с желтым абажуром.

— Садись. Ваня! Хочешь чаю?

— Спасибо, Варя! Я не голоден.

— Да ты не стесняйся! Я сейчас скажу маме, чтобы приготовила.

«Вот тебе раз! — подумал он. — Сейчас мамаша появится. Вот весело будет!» — и сказал:

— Да я, право, не знаю... не стоит маму беспокоить!

— Да не бойся! Мама не придет! — разгадала его сомнения Варя.

Варя вышла. Ванюшка, от нечего делать, разглядывал комнату. Обстановка была простая, но все дышало уютом. У стены стоял рояль, а над ним полочка с нотами. «Варя, что ли, на рояле играет? — подумал он. — Я и не знал, что она музыкантка!» Внимание его привлек шкаф с книгами. Подошел и стал разглядывать.

— А! — сказала войдя Варя. — Ты книгами интересуешься. У меня их много. Хочешь почитать? — открыла шкаф и вынула книгу. — Это Оскар Уальд. Ты читал?

— Нет!

— Так прочти. Интересно! Возьми!

Варя опять вышла. Ванюшка открыл книгу. «Портрет Дориана Грея» — прочел он заголовок.

Варя принесла поднос с чашками, сахарницей и печениями. Стали пить чай. Вид Вари-хозяйки несколько смущал Ванюшку. Он не знал, о чем говорить. Вспомнил про рояль.

— А кто на рояле играет?

— Я . . . сама себе аккомпанирую.

— Ты поешь?

— Да. Учусь!

— Спой что-нибудь.

Варя подошла к роялю, села, положила руки на клавиши. Взяла аккорд и запела: «Вдоль по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет . . .» Голос ее был хороший, чистый и звонкий. Ванюшка слушал с удовольствием. Кончив песню, Варя решительно закрыла рояль.

— Не хочу своим пением надоедать! Здесь душно. Пойдем в сад!

Под деревьями царил полумрак, было тихо и хорошо пахло. Молча прошлись по дорожке. Варя остановилась у скамейки и тихо сказала: — Давай сядем!

Сидели рядом, чуть-чуть касаясь один другого, и молчали. Ванюшка вдыхал запах сада смешанный с ароматом Вариных духов, чувствовал близость молодого тела и в нем проснулось животное. Обнял Варю, прижал к себе, увидел близко, близко лицо с закрытыми глазами и полуоткрытые зовущие губы. Прильнул к ним. Захватило дыхание. Оторвался. Варя, порывисто дыша, взглянула ему в глаза. В ее взгляде были любовь и тоска. Закрыла глаза и прильнула к нему. Опять впился в ее губы, охмелел и рука скользнула по телу Вари, упругому и податливому; почувствовал округленность коленка обтянутого скользким чулком . . .

— Ох! — простонала Варя. — Не надо! . . Ваня . . .

Убрал руку. Варя опять поглядела ему в глаза и опять во взгляде тоска.

— Ваня, не надо так . . .

— Что «так»?

— Так . . . по-зверинному» . . .

В нем боролись стыд и раздражение. Отодвинулся.

— Ах, Ваня! Мне так хорошо с тобой!

— Хорошо? А, говоришь, «по-зверинному»!

— Ты не поймешь меня... — Варя прижалась к нему. — Не надо так, как с «другими»!

Пыл у Ванюшки прошел. Ему стало досадно и скучно.

— Мне пора домой!

— Почему... — начала Варя, и сама себя перебила — конечно, тебе *нужно* идти!

— Да нет, правда, уже поздно!

— Конечно, правда, — и тихо, застенчиво, спросила, — а завтра придешь?

«Странная девчонка! — думал Ванюшка, идя по пустынной, плохо освещенной улице. — Прижимается, целуется, будто вся отдается, а потом, «по-зверинному». Не пойду к ней завтра!»

На другой вечер, все-таки пошел. Опять обрадовалась ему Варя, опять сидели в саду и целовались. И чувствовал Ванюшка, что она ждет от него чего-то большего, чем «по-зверинному». А когда уходил, опять тихое, застенчивое «а завтра придешь?»

Так продолжалось несколько дней, но все тоскливее звучало Варино «а завтра придешь?» Это стало надоедать Ванюшке. «Чего она от меня хочет? — думал он. — Не стану же я ей в любви объясняться!» И не приходило ему в голову, что Варя хочет не объяснений, а только немножко любви.

Ванюшке Варя надоела и он перестал к ней ходить. Однажды встретил ее на улице, поздоровался, заметил подчеркнуто холодный взгляд и обрадовался: «вот, значит, рассердилась и приставать больше не будет!»

После этого прошло две недели и Ванюшка получил письмо. Вскрыл. От Вари. «Что ей еще нужно? — подумал с раздражением, и стал читать.

«Ваня! Не сердись на меня, что я пишу! Я заметила, в последний раз, что тебе было скучно со мной. Я сама была виновата. А мне скучно без тебя. Ты, наверное, думаешь, что я тебе ничего, кроме поцелуев, дать не хочу. А я... Ваня, пойми! Не сердись на меня! Приходи! Я буду ждать тебя в субботу. Твоя Варя!»

В субботу опять сидели на скамейке. Опять горячие губы, прерывистое дыхание. Рука Ванюшки, от кругло-

го упругого коленка поползла вверх. Варя вдрагивала и молчала и когда... вся прильнула к нему, взглянула ему в глаза. И, в этом взгляде была покорность и такое большое страданье, что Ванюшка испугался.

— Варя!.. не бойся! Я не буду... «по-зверинному»!

— Ваня!... Я... — и Варя заплакала.

Когда уходил, уже у калитки обняла, прижалась, будто боясь потерять его.

— Ваня, поцелуй меня еще раз!.. — и, оторвавшись, — прощай!..

«Почему она сказала «прощай!» — думал Ванюшка. — Недовольна, что я... и хочется и колется! Да ну ее к чорту! Как на казнь идет! Лучше, не буду к ней больше ходить!»

Через день получил письмо, пахнущее духами и немного измятое, будто было под дождем.

«Ваня! Я знаю, что ты больше не придешь. Может быть это и хорошо! Я не хочу только «по-зверинному», а ты не хочешь, не можешь иначе. Почему?.. Почему ты не можешь понять меня?.. Да зачем я спрашиваю? Все равно, я знаю, все кончено. Если бы ты, тогда, сделал «по-зверинному» я, может быть, нет, наверное возненавидела бы тебя, а ты? ты пожалел меня, пожалел, не больше! А я хотела... я и сейчас хочу... но знаю, ты не можешь мне этого дать. Сердцу приказать нельзя! А, только «по-зверинному» — страшно! Мне хочется тебе так много сказать, но я знаю, — это бесполезно! Ты ни в чем не виноват. Во всем только я виновата! Я ждала невозможное. Я знаю, что и сейчас еще надеюсь на невозможное... Знаю, что пишу зря. Может быть мне и не нужно было это все писать? Конечно, не нужно!... но не могу... так много хочется тебе сказать и знаю, что уже больше ничего и никогда тебе не скажу. Прости, что я ворвалась в твою жизнь! Прости, и не сердись! Твоя Варя».

«Совсем по сумасшедшему пишет! — подумал Ванюшка. А ну ее к чорту, с ее высокими материями! Сама не знает, чего хочет!» А в сердце закралась тревога. Вспомнилось «прощай!» и полный страдания взгляд.

Через день Ванюшка, после работы, сидел в саду и дочитывал последние страницы «Портрета Дориана Грея». Услышал звуки духового оркестра. Похоронный марш. «Кого-то хоронят» — равнодушно подумал он и опять занялся чтением. Звуки оркестра становились все громче и мешали читать. Положил книгу и вышел на улицу. Похоронная процессия была уже совсем близко. Впереди несли выкрашенную светлой краской крышку гроба. «Кто-то молодой» — подумал он. Вот и самый гроб. Кто в нем — не видно. За гробом вели под руки плачущую женщину. «Наверное, мать, как трудно идет! А кто, не знаю». И тут увидел за женщиной, знакомых девушек. «Варины подруги! А кого же они хоронят? Никто из знакомых не болел!»

Процессия прошла. Оркестр не мешал больше и Ванюшка опять углубился в чтение.

Вечером пришел Гаврюшка.

— Ты что же не был на похоронах?

— На каких похоронах?

— Как «на каких»? Не знаешь?!

«Чего он с похоронами пристает?» — подумал Ванюшка, и сказал — Не знаю!

— И в самом деле, не знаешь?!

— Сказал, не знаю! Да ты чего с похоронами пристаешь?

— Как пристаешь? Да, ведь, Варю хоронили!

— Варю? — сердце екнуло. — Не может быть!..

Вспомнил похоронную процессию и светлый гроб. Вспомнил: «больше ничего и н и к о г д а тебе не скажу», и подумал с ужасом — «неужели?..»

— А что с ней? Чем болела? — стараясь казаться равнодушным спросил Гаврюшку.

— Ничем не болела!

— Ничем? От чего же умерла? — с растущей тревогой спросил Ванюшка.

— Под поезд попала!

— Как под поезд?!..

— Да кто его знает! Поехала с подругами купаться, в поезде вышла на площадку между вагонами и упала под колеса.

Ванюшка с облегчением вздохнул. «Не бросилась, а случайно упала под поезд. Значит, я здесь не причем» — подумал он, а, все-таки, «прощай!» тревожило его.

— Я и не знал ничего!

Гаврюшка, как-то сбоку посмотрел на него и ничего не сказал.

«Чего он так смотрит? Я, что ли, виноват?» сердясь подумал Ванюшка и сказал.

— Да, не знал! Давай переменим тему!

— Ладно! Если тебя тема не интересует, переменим.

И опять странно посмотрел на него.

Сели играть в шахматы, но у Ванюшки игра не ладилась. Где-то внутри звучало мягкое «прощай!» и виделся страдающий взгляд Вари.

После ухода Гаврюшки, хотел идти в комнаты, взял в руки книгу и вспомнил «Это «Портрет Дориана Грея». Возьми!» Ему стало страшно, показалось, что книга упрекает его. «До-р-и-ан Грей» — отчеканил мозг. — Я, как Грей, убил! .. — и тут же оправдался. — Да никого я не убивал! Просто, от неосторожности с поезда упала!» — успокоил себя и пошел в комнаты. Увидел письменный стол и вспомнил, что в ящике лежат Варины письма. И опять стало тяжело. «Что со мной? Я уже психовать начинаю!» Вспомнил: «Ты ни в чем не виноват! ... Прости и не сердись! Твоя Варя». Вспомнил и рассердился «Отомстила! За что? Сама же писала «Сердцу приказать нельзя!» Решил письма сжечь.

Взял письма и пошел на кухню — сжигать. В дверях столкнулся с матерью. Она посмотрела на него, перевела взгляд на письма и тихо сказала:

— Не надо, Иванчик... сжигать. Я все знаю. Ты не сердись! Я письма прочла. Жаль ее, но ты не виноват. А письма, все-таки не выбрасывай! Храни, как светлую память! ..

«Да и мать не верит, — подумал Ванюшка, — что о н а случайно под поезд упала». И вдруг он понял: о н а и умирая не хотела причинить ему боль, «случайно» упала. И ему, до слез, стало жаль Варю.

ГЛАВА IX

Из Исправительно-трудового лагеря вернулся Сашка Багров, сын того паровозного машиниста, который в трудную минуту дал семье Иванчика комнату. Сашка тоже был машинистом и, перед концом первой мировой войны, пошел добровольцем в школу летчиков и был выпущен офицером. Характер у него был отчаянный и он, от избытка энергии, постоянно искал приключения. Это создавало впечатление несолидности и Александра Георгиевича Багрова прозвали Сашкой. Ванюшка, узнав о возвращении Сашки вспомнил, как, еще до революции, тот ездил на мотоциклете. Это не была обычная езда, а отчаянное ухарство. Сашкин мотоциклет ревел несясь по пыльной дороге, за ним поднималось столько пыли, что она застилала всю улицу и взрослые, чихая и протирая глаза, говорили: «Опять Сашка с ума сходит! Когда-нибудь сломает себе шею!» Однажды это пророчество чуть-чуть не исполнилось. Сашка несся на мотоциклете по пыльной изрытой колесами дороге. За ним оставалась широкая полоса серой пыли. Вдруг мотоциклет, вероятно попав в колею, опрокинулся и закрутился вместе с Сашкой; и сразу густое облако пыли закрыло его. Из облака дико ревел мотор. Внезапно рев оборвался и из облака раздался голос:

— Стой, чорт тебя дери! Взбесился, что ли? . .

Голос перешел в кашель и из облака выскочил, целый и невредимый, Сашка. Откашлялся, снял очки и, смеясь, начал сбивать с себя пыль.

Этот Сашка, при белых, опять был летчиком, а потом, из-за недостатка самолетов, стал водить броневые поезда.

Вскоре, после возвращения, Сашка пришел в гости к матери Ванюшки. Рассказал, что в лагере жил не пло-

хо — работал на постройке прорабом. Другому бы не поверили, что не имевший никакого специального образования строителя летчик, мог стать прорабом, а Сашке поверили: при его энергии и отчаянности, все было возможно. Да и перед тем, как Сашка начал рассказывать о своей работе в лагере, он, невольно показал, что остался таким же, как раньше, отчаянным. Войдя, он снял куртку и хотел повесить ее на вешалку, отвлекся, говоря с матерью, и повесил куртку так, что она упала. Что-то твердое стукнулось о пол и все увидели поблескивающий воронением револьвер.

— Вот, чорт! — сказал Сашка. И нужно же ему вывалиться!

Поднял куртку с пола и всунул в ее карман револьвер.

— Что вы делает, Александр Георгиевич? — сказала испуганно мать. — Разве можно револьвер с собой таскать?!

— А чего же и нет?— совершенно спокойно ответил Сашка. — Мой парабеллум, не крал я его!

— То и беда, что ваш! Узнают — арестуют!

— А как узнают? Вы, что ли скажете? — и Сашка беззаботно рассмеялся.

Сашка рассказал, как изругал лагерного начальника, за плохую организацию работ и думал, что теперь ему конец, а тот назначил его прорабом; как он принялся опять ругаться, говоря, что прорабом никогда не работал, начальник сказал: «Такой, как ты, отчаянный со всякой работой справиться должен!» и как он, действительно, с работой справился.

Вскоре Сашка устроился на работу по новой, полученной им в лагере, специальности — прорабом. Он избрал эту работу, как раньше карьеру летчика, из любви к приключениям, к новизне.

Сашка стал часто навещать мать Ванюшки. Однажды, сидя за столом и попыхивая трубкой, он рассказывал о своих приключениях в армии:

— Да, Наталья Павловна . . . чудес всяких много было. Когда еще летал, все маленьким видел: пушки маленькие, лошади — тоже, и люди совсем маленькие, буд-

то игрушечные. Пустишь им бомбу, дымнет внизу, засуетятся людишки возле дыма, а мне даже и не интересно. Начнут в меня стрелять, — тоже не интересно. Знаю, что все-равно не попадут. А вот на бронепоезде, там интересно было. Там люди не были игрушечными. Не были букашками, как с аэроплана их видно. Помню, стоял мой бронепоезд на передовой, красные попрятались, никого не видно. Из пушек в нас не стреляли, а мы — изредка. Бухнем и опять молчим. Сначала, пули по броне пощелкивали, а потом и щелкать перестали. Пошел я в броневой вагон, влез в башню и смотрю в щель. Вижу пустое поле. Попрятались так, что и не заметишь. А время было обеденное. Крикнул я из башни, чтобы мне обед принесли, а сам, со скуки, опять поле разглядываю. Слышу: «Ваше благородие, обедать!» Смотрю — солдат с обедом стоит. Слез я вниз, взял обед и сел на скамейку, прямо под башней. А солдат: «Ваше благородие, дозвольте в щель поглядеть! Что оно там в поле делается?» — «Ничего там не делается! Хочешь смотреть, смотри!» Полез солдат в башню, а я за борщ принялся. Борщ вкусный, с мясом и со сметаной. Только первую ложку проглотил, как шлепнется мне что-то в борщ — все лицо обрызгало! Глянул я вверх, думал, солдат что уронил, хотел выругать его, а он из башни валится, прямо мне под ноги. Вместо головы — букет красный. Чорт его знает, как его пуля в лоб хватила, да еще, наверное, рикошетная. Простая так голову не разворотила бы. А борщ есть не пришлось — с мозгами смешался. Вот вам и судьба! Я, сколько через щель смотрел — ничего, а он, едва взглянул, а пуля тут как тут.

Вспомнил Сашка про трубку, потянул — потухла. Разжег, пустил несколько клубов дыма и начал опять:

— Да, судьба!.. Вот, когда я в летной школе был, летали мы на двухместных аэропланах. Когда один летишь, нужно было, для баланса, на пустое место мешок с песком привязывать, да и самому, чтобы не вывалиться, тоже привязываться. Мы, из ухарства, часто не привязавшись летали. Были в школе два неразлучные приятеля: один уже курс кончал, другому еще с месяц

учиться осталось. Вот собрался первый в последний учебный полет, а приятель его и говорит: «Давай вместе полетим! Уедешь на фронт, придется ли скоро увидеться?» И полетели вместе. А мы стоим и смотрим, как они там всякие штуки в воздухе выделывают. Когда, видим, что-то с аэроплана падает. Присмотрелись и ахнули — человек! А он падает и все за воздух хватается, будто за воздух удержаться хочет. Не долетел метров сто до земли, сжался в комок и... шмякнулся о землю. Кинулись мы к нему, а от него мешок с костями остался. Накрыли его шинелью, про другого вспомнили. Летит, как ни в чем не бывало! Ну, думаем, наверное ничего не заметил. А он на спуск пошел. Вспомнили мы, что без пассажира он, значит баланс потерян, кричим, руками размахиваем, авось поймет, что что-то неладно. А он, наверное, думал, что мы его полетом восторгаемся. Пошел на посадку, да, без пассажира, не рассчитал. Так и врезался носом в землю. Разбился вдрызг! Мотором раздавило. Похоронили их вместе. Вот и не суждено, значит, было друзьям расстаться!

Опять разжег трубку, подымил немного.

— А раз получил мой бронепоезд распоряжение — на фронт выехать и пехоту поддержать. Поехали. На последней станции узнали по телефону, что красные отходят, прижала их наша пехота к самому полотну железной дороги. Вот, думаю, и хорошо! Подъедем, еще им жару прибавим! Подкатили, вижу красные от полотна недалеко. Подъехали мы и стали прямо перед ними. Пушки — на шрапнель, пулеметы изготовили, а они, красные, увидели нас, да кричать, руками размахивать. Что за чертовщина? — думаю. —Не прячутся! Уж не ошибка ли? Может это наши? А тут команда — «Огонь!». Как грохнули наши пушки, да застрочили пулеметы, у них паника поднялась. Бегут, как шальные, валятся под нашим огнем, прямо страшно смотреть было! Разщелкали мы их, стоим, отдыхаем. Когда с наблюдательного докладывают: «На линии поезд! Дым видно». Приготовились опять и ждем. А полотно дугой изгибалось. Видно, дымит, а что, чорт его знает! Выскочил поезд на дугу, смотрим броневой, красных! Да так к нам, на дуге, боком, что стрелять — одно удовольст-

вие! Как ахнули мы из пушек, только дым от него пошел, да клочья полетели! Разкокали мы его вдрызг, раньше чем с него и выстрелить успели. Кое-кто из него выскочить успел, тех в плен взяли. Когда допрашивать стали, узнали что их бронепоезд на выручку своей пехоты шел. Красные, наверное, нас за свой бронепоезд приняли, от того и руками нам махали.

— А как ваш бронепоезд назывался? — спросил Ванюшка, вспомнив, что работавший с ним в одном цеху Левка Самойлик, бывший матрос, рассказывал про что-то похожее.

— «Офицер», а что?

— Да мне такую историю один наш рабочий рассказывал. Он матросом был и за красных воевал.

— Вот тебе и судьба! Я его чуть не укокошил, а ты с ним вместе работаешь.

Когда Сашка ушел, Ванюшка ярко вспомнил рассказ Самойлика:

«Зажали нас тогда белые. А у нас и патроны на исходе. Отстреливаемся слабо, пятимся помалу к железной дороге. Да ... со мной приятель был, Ленька Ястребков — душа человек! Сколько мы с ним всяческого пережили, а всегда, как братья. Не то, что жратву, баб делили! Вот отползаем к полотну, а Ленька и говорит: «Вот жмут, туды иху мать! Одна надежа, наш броневик выручит!» — «Какой броневик?» да чуть приподнялся а она как швыкнет, пуля-то, я к земле, а Ленька смеется: «Что, прижгла задницу?» А тут — канавка маленькая, сполз я в нее, Ленька — тоже. Лежим, а Ленька опять: «Не робей, воробей! Броневик выручит!» А тут, как раз, по цепи кричат: «Держитесь, товарищи! Скоро наш броневик подойдет!» Лежим и ждем, а Ленька и говорит: «А с какой стороны броневик подойдет?» — «С нашей!» — «Вот дура! Знаю, что с нашей! Откуда?» — « А хрен его знает, откуда! Да ты, не кудыкай, — говорю, — а то еще беды накудыкаешь!» А Ленька смеется. Он на все смеялся, отчаянный был. Когда смотрим — идет броневик. А тут и белые перестали стрелять, мне тогда и невдомек было — почему. Обрадовались мы. Стал броневик, прямо против нас и пушки вниз опускает. Вот, думаю, сейчас хлестнет по белякам,

красота! А Ленька приподнялся и кричит: «Давай, давай! Стегани их!» Смотрю, а пушки что-то уж больно низко опустились. Прямо на нас рылами. Глянул на поезд, а мне в глаза «Офицер», да большими буквами! Как мы этого раньше не увидели, ума не приложу! Как увидел я, так и обомлел. Ленька, Ленька, кричу, ложись! А он повернулся ко мне и смеется, да, вдруг, и не стало головы, только плечи одни! А тут ка-а-к грохнет броневик и пошел стегать, аж земля клочьями летит. Я и не помню, как оттуда удрапал. А от ребят, что со мной были, никого больше и не встретил».

«Вот как все на свете странно получается, — думал Ванюшка, — одни за белых воевали, другие за красных. А война кончилась, встретятся и, пока из-за политики не поссорятся, друзьями живут. А политика, для Левки уже не главное. Он о заработке хлопочет. Да и Сашка — тоже. Сведи их сегодня, — друзьями будут — оба отчаянные! Вот Сашка прорабом работает, а Левка в «лжеударники» попал. А что он плохого делает? Работает хорошо, только, когда нормы повышают, ругается. А забавно у него получается — «Что я, за шапку сухарей работать, что ли, буду!» За шапку сухарей? — мысль перешла к недавнему собранию, — А на собрании говорили, что несознательные бабы хлеб скупают, да на сухари сушат. Из-за этого и хлеба не хватает. Из знакомых никто хлеб на сухари не покупает. А какие-то, значит, покупают — «несознательные».

Сашка Багров вздумал жениться. На свадьбу пригласил и Ванюшку с матерью. На свадьбе много пили, пели и танцевали. Молодая была лет на двадцать моложе Сашки и, на первый взгляд, была в пару ему — тоже отчаянная. Но только ее «отчаянность», когда Ванюшка пригляделся, показалась ему не такой, как у Сашки. Сашкина «отчаянность» была, казалось, само собой разумеющимся качеством очень энергичного, волевого человека, а «отчаянность» Нины, так звали молодую, казалась наигранной и грубой.

Нина спела несколько «отчаянных» песен беспризорников и заумных Вертинского. Пела она хорошо и Ванюшка слушал с удовольствием, смотрел на Нину и

думал, что не пара она Сашке — много грубого, животного в ней.

Через неделю после свадьбы, Сашка пришел с женой. Пили чай, разговаривали. Мать попросила Нину спеть что-нибудь.

— Я спела бы с удовольствием, да гитары нет.

— Гитары? У нас мандолина есть.

— А кто на ней играет?

— Раньше я играла, а теперь разучилась. Зато сын играть на ней научился.

— Я могу и гитару достать! — сказал Ванюшка.

— Вот хорошо! — обрадовалась Нина. — Неси гитару!

Ванюшка сходил к соседу-приятелю и вернулся с гитарой.

— Ну, бери мандолину, сыграем что-нибудь вместе! — сказала Нина.

— Ванюшка взял мандолину, сел на поставленный Ниной, рядом с ней, стул.

— А что же мы будем играть ? — спросил он.

— Давай «кирпичики»! Умеешь?

— Умею.

Нина аккомпанировала прекрасно. Даже то, что Ванюшка часто сбивался с такта не смущало ее. Быстро и легко она применялась к его манере играть и все шло гладко, так что никто ничего и не заметил. Потом Нина, будто увлекшись игрой, придвинулась к Ванюшке и слегка коснулась его коленом. Он почувствовал это прикосновенье, смутился и отодвинулся. Взглянул на Нину и увидел чувственные губы и зовущие глаза.

«Не баба, а чорт! — подумал он. — Муж рядом сидит, а она . . . А может, это мне только кажется?

Сыграли «кирпичики». Нина засмеялась, услыша аплодисменты матери и Сашки, посмотрела на них, сделала театральный поклон головой в сторону «публики» и сказала:

— А теперь я спою «кирпичики», если хотите?

— Пой, светик, не стыдись! — смеясь сказал Сашка.

Нина взяла аккорд, посмотрела на Ванюшку и запела. Когда она пела слова «На заводе том, Сеньку

встретила», опять взглянула на Ванюшку и в ее глазах он прочел вызов.

«Не баба, а чорт! — опять подумал он. — Теперь мне уже не кажется!»

Сашка уехал в командировку и Ванюшка уже с месяц не видел ни его, ни Нину. Идя с работы он увидел на заборе возле проходной большую афишу с объявлением, что приезжий лектор прочтет в клубе лекцию на тему «Женщина». Тема его заинтересовала, он ожидал каких-то откровений, и решил пойти на лекцию. Вечером, придя в клуб, увидел что там уже полно народа.

«Вот досада! — подумал он. — Опоздал и, наверное, места не найду!»

Протискался в зал и пошел по проходу, разыскивая свободное место. Мест не было и он уже потерял надежду найти одно для себя, как увидел во втором ряду Нину и рядом с ней свободное место. Нина тоже увидела его и махнула призывно рукой. Стараясь не толкать сидящих, Ванюшка протискался к ней.

— Наконец, — сказала Нина, — я уж думала, ты совсем пропал и хотела уже место отдать.

Ванюшка сел и подумал:

«Откуда она могла знать, что я буду на лекции? И почему она для меня место берегла? А может, и не для меня? Кого другого ждала. Не пришел — мне предложила».

Появление на сцене лектора прервало его размышления. Лектор заговорил о внутреннем мире советской женщины — всё давно известные и шаблонные мысли. Скоро Ванюшке стало скучно слушать и он принялся незаметно разглядывать Нину. Ее сильные бедра отчетливо вырисовывались под платьем, корпус был откинут на спинку стула и бросались в глаза ее высокие груди, едва прикрытые сильно декольтированным платьем.

«Вкусная баба! — подумал Ванюшка. — Да не моя!»

Через некоторое время и Нине надоело слушать. Она посмотрела на Ванюшку, нагнулась к нему и прошептала: — Я думала, будет интересно, — и загадочно улыбнулась, — а ты, наверное, ждал чего-нибудь сногсшибательного?

— Не ждал я сногсшибательного! — так же шопотом ответил он.

— Не ждал? — придвинулась Нина. А тема-то «женщина»! Разве тебя женщина не интересует?

Кто-то из сидящих сзади шикнул и Нина замолчала, но придвинулась к нему так, что он чувствовал ее упругое тело и ему казалось, что оно обжигает его.

Вспомнил про Сашку и подумал:

«Чорт, а не баба! Чего она добивается?»

Хотел отодвинуться, заметил вызывающий и немного насмешливый взгляд Нины, будто говоривший — «Что? испугался?» и не отодвинулся. Скоро лекция окончилась. Из клуба вышли вместе. Прохладный ночной воздух освежил Ванюшку и он подумал, что не следует гулять с чужой женой, да еще с женой знакомого. Но как поступить, он не знал. Шел и думал:

«Оставить ее одну — невежливо! Идти провожать, могут не весть что подумать. А уйти, все-таки, нельзя!» — и покорившись судьбе пошел рядом с Ниной.

Отошли от клуба. Улица опустела.

— Вот ты какой молодой и сильный, — сказала неожиданно Нина, — неужели тебя не тянет к женщине?

— Почему, не тянет? — растерявшись пробормотал он.

— Да я, ни разу не заметила . . .

— Что, «не заметила»?

— Вот ты какой, вынуждаешь меня . . .

— Что я вынуждаю?

Нина засмеялась.

— Вынуждаешь меня сказать, что я тоже женщина!

— Ну и что ж такого, что женщина?

— Да с тобой . . . не договоришься! — с досадой сказала она и остановилась. — Я же сказала, что тебя не тянет к женщине . . .

Ванюшка не знал, что ответить. Его смущала близость Нины и тревожило, что она Сашкина жена. А Нина, подойдя вплотную, касаясь его грудью, сказала:

— Ах, я так хочу, чтобы кто-нибудь поцеловал меня!

Ванюшка растерялся. Он понял ее слова, как предложение. Близость зовущего женского тела раздражала

его инстинкт, но рассудок тормозил и, колеблясь, он сказал:

— А Александр Георгиевич?..

— Вот чего ты... Пусть не бросает одну! — и отодвинулась. Раздраженно сказала, — Саш-ка? Его уже месяц дома нет, а я — живой человек. Пойдем!

Прошла несколько шагов и сказала:

— А ты что, боишься, что ли?

— Чего мне бояться? Только неловко как-то...

— Что там, «неловко»? Ловко будет! — и засмеялась. — Знаешь что, пойдем скорее и, если бабки не будет, зайдем ко мне.

Ванюшка вспомнил, что мать Сашки — бабка, не жила с ним в одной квартире, но часто приходила к нему и оставалась ночевать. Ему и хотелось, чтобы бабки сегодня не было, и боялся он, что ее не будет.

Дошли до дома, где жила Нина.

— Подожди, зайдем тихонько во двор, посмотрим нет ли бабки, — взяв его за руку зашептала Нина.

Окна не были освещены.

— А может быть бабка спит? — тоже прошептал Ванюшка.

— Нет! Когда она приходит, а меня дома нет, она всегда дожидается моего возвращения. Шпионит! Раз темно, значит ее нет! — и засмеялась. — Идем!

В комнате Нина, не зажигая свет, подошла к окнам и опустила шторы. Стало совсем темно и Ванюшке показалось, что стук его сердца слышен во всей комнате.

Вдруг его ослепил свет и он зажмурился. Когда открыл глаза, возле него стояла Нина и смотрела на него зовущим взглядом.

— Не знаю, как ты, а я проголодалась, — сказала Нина, — давай закусим!

— Да я... не голоден! — не решаясь сдвинуться с места, ответил Ванюшка.

— Не голоден, — передразнила Нина и засмеялась, — садись!

Нина подвела Ванюшку к столу возле дивана, и усадила его на диван. Зажгла стоявшую на столе лампу, покрытую розовым абажуром и сказала:

— Я сейчас...

Ушла в соседнюю комнату и сейчас же вернулась с графином, двумя рюмками и тарелкой с закуской. Поставила все на стол, придвинула к нему стул и села напротив Ванюшки. Налила рюмки.

— Выпьем за . . . женщину!

Ванюшка выпил, закусил, поглядел на Нину и подумал:

«Вкусная баба!»

Нина опять наполнила рюмки.

— За настоящего мужчину!

Чокнулись и выпили.

Нина сейчас же наполнила рюмки, и пересела к Ванюшке.

— Пей! Теперь — за любовь!

Выпив, Нина пошла к двери и выключила свет. Комната осталась освещенной только настольной лампой, льющей слабый розовый свет.

— Так лучше! — сказала Нина, опять села возле Ванюшки и обвила его шею рукой. — Уютнее. Правда?

Ванюшка повернулся к ней, увидел блестящие глаза и полуоткрытые зовущие губы. Обнял Нину и впился в них . . .

Нина лежала возле него на диване и глядела на него. Улыбнулась и сказала:

— Ну как, «лекция» — женщина? Хорошо?

— Хорошо! — устало ответил Ванюшка.

— О, ты устал, — лукаво сказала она, — пойдем баю, баю!

Ванюшку разбудил треск будильника. Не понимая, где он, хотел подняться и остановить будильник, но внезапно вспыхнул свет и будильник замолк. Вспомнил — Нина! и почувствовал прильнувшее к нему горячее тело. Увидел близко, близко глаза Нины.

— Ах, как ты хорошо спал! —голосом, в котором еще слышался сон, сказала Нина. — Жалко было будильник заводить.

— А зачем будильник? — еще в полусне сказал Ванюшка. — Еще ночь . . .

— Ночь? конечно ночь! А ты думал днем, чтобы все видели, от меня идти?

Нина прижалась к нему всем телом. Это горячее тело звало, требовало. Ванюшка обнял его...

Чувствовал приятную усталость и лежал с закрытыми глазами.

— Жарко! — сказала Нина и одним движением сбросила на пол одеяло. — Так лучше.

Открыл глаза, увидел белое, бесстыдно нагое тело Нины.

«Это женщина, — подумал он, — голая самка, моя и... чужая самка!»

Стало вдруг стыдно: подумал о Сашке, о неприятной встрече с ним. Заторопился.

— Нужно идти! Скоро будет светать.

— Не спеши! — устало сказала она. — Успеешь.

— Нет! .. Дай одежду!

— Хорошо, — лениво ответила Нина, — сейчас.

Потянулась, встала и он увидел ее всю — рослую, стройную и чужую.

Нина накинула халат, подняла с пола одеяло, нашла и подала ему одежду.

Второпях оделся, нехотя поцеловал прильнувшую к нему в дверях Нину и ушел.

Предрасветный ветерок приятно свежил. Шелестели душистые тополя и бездонное темно-синее небо блестело несчетными звездами. Ванюшка подумал:

«Ах, как хорошо жить на свете!» — и вспомнил, что это же сказал отец, тогда — возле тюрьмы.

Дойдя до своей калитки, открыл ее, вошел во двор, вдохнул резкий запах волосского ореха и подумал, что скоро и орехи поспеют. Постоял возле дерева, поглядел в его, кажущуюся черной, листву, подумал, что спать совсем не хочется и пошел в сарай, где спал летом. Разделся, лег, сладко потянулся и, ему показалось, тотчас же загудел заводской гудок, зовя на работу. Днем несколько раз вспоминал Нину и каждый раз между ней и им становился Сашка и ему делалось стыдно.

Его угнетала картина встречи с Сашкой и, казалось, он не сможет смотреть тому в глаза. Он твердо решил, к Нине больше не ходить.

Через две недели вернулся из командировки Сашка Багров. Пришел с Ниной в гости, когда Ванюшка был

дома. Увидев у калитки Сашку, Ванюшка испугался и хотел удрать через заднюю дверь, но подумал, что это не выход из положения — все равно, когда нибудь встретиться придется, и остался.

Войдя, Сашка весело поздоровался, пошутил, что привел «соломенную вдову», а Нина звонко рассмеялась на эту шутку. Ванюшка посмотрел на нее и подумал, что страшно верить женщине — она со смехом продаст, и с невинной улыбкой встретит проданного.

Ничего страшного, как рисовала раньше фантазия Ванюшки, не случилось. Нина вела себя, как всегда. Смеялась, шутила, рассказывала, как скучала одна, без мужа. Ванюшка, смотрел и удивлялся способности женщины скрывать и обманывать.

— Ах, как я скучала, пока Саша был в командировке. Одна и петь отучилась! — сказала Нина и, повернувшись к Ванюшке театрально укоризненно пожурила. — А ты, хоть бы раз навестил «соломенную вдову»! В наказание, неси гитару и мандолину! Сыграем что-нибудь.

— Будем «кирпичики» слушать! — положив ладонь на щеку, будто у него заболели зубы, сказал Сашка.

— Зачем — «кирпичики»? — рассмеялась Нина. — Мы что нибудь другое сыграем!

И взглянула на Ванюшку взглядом заговорщицы.

— Правда? Мы с тобой совсем другое сыграем!

Ванюшка понял скрытый смысл слов Нины, ему показалось, что и Сашка должен понять, он смутился, взглянул на Сашку и, увидев веселое лицо его, вздохнул с облегчением.

— Конечно другое, — сказал он и поймал себя на мысли, что он говорит в тон Нине. — «Дунайские волны».

Нина посмотрела на него и опять, как заговорщица, улыбнулась.

Сыграли «Дунайские волны». Ванюшка играя то и дело сбивался с такта, его смущала близость Нины и мучило сознание вины перед Сашкой, но Нина успевала менять такт и все прошло гладко.

Когда кончили, Сашка сказал:

— Ты соскучилась без пения, так спой светик, не стыдись!

Нина улыбнулась Сашке, взяла аккорд и, глядя, как показалось Ванюшке, с насмешкой на Сашку, запела:

Мы на лодочке катались,
Золотистый, золотой.
Не гребли, а целовались, —
Не качай, брат, головой!

И, лукаво взглянув на Ванюшку, продолжила:

В лесу — говорят, в бору — говорят,
Родилася сосенка.
Понравилась мальчишке
Хорошая девченка.

Спев песню, Нина передала Ванюшке гитару и, глядя на Сашку взглядом понятным только Ванюшке, спросила:

— Ну как, Саша, понравилось?

— Понравилось, молодец Ниночка! — ответил тот.

После ухода Сашки и Нины, Ванюшка долго думал о способности женщины лукавить и жалить. И жалел ничего не подозревающего Сашку.

Через неделю, когда Ванюшка пришел домой с работы, мать встретила его вопросом:

— Знаешь новость?

— Какую?

— Сашку Багрова арестовали! Нинка, дрянь, выдала!

— Как, выдала?

— Донесла, что у него револьвер!

«На смерть ужалила, — подумал Ванюшка, — змея!»

— Когда? — спросил он.

— Сегодня ночью.

— Вот что, мама, — неожиданного для самого себя сказал Ванюшка, — я пойду к ней!

Подумал, что мать может понять это «к ней» и добавил:

— Пойду, узнаю в чем дело. Узнаю, что с Сашкой, — почувствовав, что совсем запутался, раздраженно кончил, — и выругаю ее.

Не обедая, собрался и пошел. По дороге думал, что Нина оказалась гораздо хуже, чем можно было ожи-

дать, что она перешла все границы, показала себя бессердечной и... дрянью. Решил немедленно и жестко порвать с ней. Потом вспомнил «героинь» из книг, шедших на все ради своих возлюбленных и начал воображать, как встретит его Нина — смущенная, взволнованная, убитая совершенным ею, и любящая его. Поймал себя, что начал уже оправдывать ее и подумал:

«Нет! такого подлого другие не делали! Такого простить нельзя!»

Подошел к квартире Нины и постучал в дверь. Нина встретила его, будто ничего не случилось:

А! Вот хорошо! Заходи!

Вошел, увидел знакомую комнату, тот диван... и живо вспомнил хмельную ночь.

Увидел, что Нина закрывает дверь на задвижку.

— Не надо! — сухо сказал он.

— Почему? — непонимая спросила Нина. — Так лучше, никто не войдет.

— Пускай входят! — резко сказал Ванюшка. — Все равно меня в свою кровать больше не затащишь!

— Я...

— Знаю, что ты! — злобно перебил он. — Дрянь ты! мужа выдала.

Она оторопело взглянула на него:

— Ваня, я хотела...

— Знаю, что ты хотела! — опять перебил он. — А я, с такой дрянью не хочу...

— Ты — так! — с исказившимся от злобы лицом выкрикнула Нина. — Ну и иди... к чорту!

— Туда — тебе дорога! — бросил он, открыл дверь и вышел.

Больше он Нины не видел. Через некоторое время услышал от матери, что Нина вышла замуж за какого-то военного.

«Пускай кого хочет к себе в кровать тянет! — подумал Ванюшка. — Лишь бы меня не тревожила».

О Сашке Багрове он больше ничего не слышал. Пропал человек, как в воду канул.

ГЛАВА X

Шел 1930 г. Ванюшка уже прошел допризывную подготовку и ждал призыва в армию. Часто думал он об этом призыве. В последние годы он несколько раз пытался поступить в высшее учебное заведение, но каждый раз находил свою фамилию вычеркнутой из списка принятых. Каждый раз досадовал, что отказали в приеме уже после экзамена. А получалось так потому, что в анкетах Ванюшки, которые он посылал вместе с заявлением о желании поступить в вуз, все было в порядке. На вопрос «Социальное положение родителей до революции?» он писал: Отец — служащий. Мать — домашняя хозяйка. И это было правильно. Отец действительно служил, а мать — занималась домашним хозяйством. А во время экзаменов, кто-нибудь узнавал его и доносил. Последний раз увидел в списке принятых свою фамилию вычеркнутой красным карандашом, он пошел к секретарю комсомольской организации вуза.

— Товарищ секретарь! Почему меня вычеркнули из списка принятых?

Тот спросил фамилию, нашел «дело», просмотрел.

— Вот что, товарищ. Вы еще мало проработали на заводе. Поработайте еще пару лет, а тогда и подавайте опять заявление.

Перед призывом Ванюшка решил ничего не затушевывать в своем прошлом. Он был уверен, что его, все-равно, не возмут в армию. Так, не веря, пошел на призыв. Пройдя медицинскую комиссию, оказался перед столом, за которым заседала приемная комиссия. В середине сидел военком, справа от него — несколько военных, а слева — работники ГПУ.

Военные осмотрели его как лошадь, спросили об образовании, о том, по какой специальности он работал,

и удовлетворились этим. Один из сидевших слева посмотрел на Ванюшку и, с выжидающим видом, спросил:

— А кто ваши родители?

Ванюшка почувствовал, как надвигается и придавливает его «бывшее», то бывшее, в котором он был совершенно неповинен, но которое определяло его судьбу. И, понимая безвыходность положения, невозможность скрыть это «бывшее», он хотел ответить, но, совершенно неожиданно, выручил военком.

— Чего вам нужно? Мальчишка с девяти лет сиротой остался и шесть лет на заводе работает! — с раздражением сказал он.

Военком посмотрел на Ванюшку и сказал:

— Можете идти!

«Нет... меня не возьмут! — думал Ванюшка, забившись в угол зала наполненного оживленно разговаривавшими призывниками. — Меня считают «бывшим», «социально чуждым»! А чем я хуже их?.. Работать вместе можно, а вот в армию... в армию — нельзя! А может быть, все-таки возьмут?.. Нет, не возьмут!... «Поработайте еще пару годиков, товарищ!» сказал в вузе секретарь. «Товарищ!» какой я им товарищ?» Его размышления были прерваны приходом военного с бумагами в руках. Призывники, в ожидании, затихли. Головы всех повернулись к вошедшему. Ванюшка, ожидая что он, как при попытках поступить в вуз, окажется вычеркнутым из списка, еще больше сжался в своем углу. Военный начал читать. Десять, двадцать фамилий — Ванюшкиной нет. Еще с десяток... Ванюшка подумал — «моей не будет, куда уж мне?» и замер. «Бурин, — услышал он, — назначается в стрелковый полк».

«Я, — моя фамилия... неужели все-таки?.. — не веря собственным ушам подумал Ванюшка. — А может быть я ослышался?.. Нет, не ослышался! Он сказал «Бурин», а другого с такой фамилией нет». А все-таки, когда военный кончил читать и сказал: «Назначенные в стрелковый полк, соберитесь в боковой комнате!», Ванюшка сначала не решался идти туда — боялся, что его, как затесавшегося не в свою компанию, осмеют.

Наконец, решился и пошел. И только после того, как военный, проверяя по списку наличие всех, опять прочел его фамилию, Ванюшка больше не сомневался.

Мать встретила его спрашивающим взглядом.

— Призвали! — гордо сказал Ванюшка. — В стрелковый полк.

— А когда ехать? — стараясь казаться спокойной, спросила мать.

— Завтра!

— Как завтра? .. А как же, — и перебила себя, — тебе нужно же собраться!

— А чего собираться? Там все дадут!

— Там дадут, а пока доедешь? — озабоченно сказала мать. — Надо что-нибудь на дорогу взять!

«Как о маленьком хлопочет! — подумал Ванюшка. — Еще провожать пойдет, да при всех скажет: «Смотри Иванчик, будь осторожен, с поезда не упади!»

— Зачем что-нибудь с собой брать? Нужно будет что, куплю!

Мать, все-таки, занялась приготовлением «на дорогу». Ей нужно было что-то делать, двигаться, хлопотать, чтобы не дать тоске охватить себя и не показать свое волнение сыну. Чувство в ней боролось с разумом. Чувство противилось разлуке, а разум говорил, что призыв сына в армию открывает ему дорогу в жизнь, выводит из положения человека второго класса.

«Что я? — думала мать. — Со мной «полковницей» он вечно будет для окружающих «чуждым». А ему тяжело чувствовать это. Я, как нибудь переживу, пока он вернется. Пусть будет, что будет, лишь бы ему было хорошо!»

Мать провожать не пошла. У калитки попрощалась с сыном, спокойно, даже как будто бы радостно, словно на прогулку он уходил. Только в глазах была печаль.

*

Прошли первые недели армейской жизни. Ванюшка привык к размеренной, дисциплинированной жизни одногодичника, как называли в армии людей со средним и высшим образованием, которые, пройдя годовой курс

обучения, должны были стать средними командирами РККА. Привык к тому, что его уже никто не называл Ванюшкой, а говорили: «товарищ курсант», «товарищ Бурин» или, просто «Бурин». Дни были полностью заняты: подъем, физзарядка, завтрак, занятия, обед, «мертвый час», опять занятия, ужин, самоподготовка и отбой. Раздумывать было некогда и Бурин не заметил, как его отделила незримая стена от всего неармейского мира.

Вначале одногодичников раздражали, приставленные к ним в качестве командиров-нянек, отделенные. Эти отделенные должны были приучить курсантов к элементарному армейскому порядку: быстро вставать и одеваться утром, заправлять койку, в строю идти в столовую, подметать и мыть полы в казарме и т. д. Большинство отделенных добросовестно выполняло свои обязанности, но некоторые старались показать свою власть над «профессорами», «золотозубыми», как они между собой называли курсантов.

Оглядевшись, привыкнув к армейскому порядку и познакомившись один с другим, курсанты решили проучить наиболее зарвавшихся отделенных.

Самого грубого, недалекого деревенского парня, грубо и осадили. Когда он с отделением, в котором был Бурин, пошел в наряд на кухню и там, пользуясь отсутствием старших, начал кричать и грубить, отделение окружило его и курсант Стукан сказал:

— Ты, слушай!..

— Что значит «ты»? — перебил отделенный. — Не «ты», а товарищ командир!...

— Не ори! — спокойно сказал Стукан. — Захамился ты больно. Думаешь долго над нами издеваться? Напрасно! Мы тебе рога обломаем!

Отделенный, ошалев от неожиданности, раззявил рот, а Стукан продолжал:

— Не думай, что тебе все сойдет! Устав мы получше тебя знаем. Вот набьем тебе сейчас рожу, а потом пойдем и пожалуемся, что ты нас бил. А что ты один доказать можешь? Не тебе одному, а нам всем поверят. А, за превышение власти в Ревтрибунал попадешь!

— Да я что?! — растерянно сказал отделенный. — Я, товарищи курсанты, службу исполняю...

— Ну и исполняй службу, да помни что и мы служим! Не зазнавайся, а то хоть мы и «профессора», а на тебя управу найдем!

С другим, маленьким, белобрысым, крикливым и назойливым отделенным сверхсрочником, старавшимся показать свое «я», расправились по-иному. Этот отделенный хотел быть похожим на среднего командира и носил комсоставскую форму, но из-за недостатка средств — с чужого плеча. Мундир был ему почти по колени, галифе свисали на сапоги, а шинель волочилась по полу. Командуя он имел привычку, при поворотах, выкрикивать слово «щалчок», добиваясь чтобы курсанты, как один человек, щелкнули каблуками.

Однажды, собравшись вести роту на ужин, отделенный, приняв важную позу, по-петушинному закричал:

— Становись!

Курсанты стали. Бурин искоса поглядывал на отделенного и заранее наслаждался ожидаемой сценой.

— Рррав-няйсь!

Выравнялись.

— Смии-рр-ноо!

Стали смирно.

— Напраа-воо!

Сто двадцать человек повернулись, щелкнули, как один, каблуками и, так же, как один, прокричали «щалчок!»

Отделенный растерялся. Такого поступка, почти бунта, он никак не ожидал. А курсанты стояли в положении «смирно», будто ничего и не случилось.

— На лее-воо!

Вновь четкий поворот и в такт ему «щал-чок!»

— Вольно! Что такое, товарищи курсанты? — перепуганно спросил, почти прокричал отделенный. — Кто вам разрешил кричать при повороте?

— Вы, товарищ командир! — сказал приняв стойку «смирно», как полагается при обращении к командиру, самый «профессорский» на вид и, из-за близорукости, носивший огромные очки, курсант Приймак.

— Как ?! .. Да никогда я ... такого в Уставе нету!

— Конечно, «в Уставе нету», — невозмутимо передразнил Приймак, — а вы всегда при повороте кричите «щал-чок». А слова «щалчок» нет, есть «щелчок!»

Отделенный, не глупый парень, понял, что ему не следует выступать против всей роты, но ничего другого, как скомандовать «смирно» ему в голову не пришло. Увидев, что рота стала «смирно» он думал, что инцидент исчерпан и скомандовал:

— На праа-воо!

И опять, дружно и громко, «щал-чок!»

— На лее-воо! — и вновь поворот и громкое «щалчок!»

— Воль-но! — скомандовал отделенный и с красным, вспотевшим лицом стоял несколько секунд, не зная что делать. Наконец, промолвил:

— Так вот, товарищи, не всяко слово в строку ... давайте мирно жить ...

Что он еще хотел сказать, осталось неизвестным, так как стоявший на правом фланге курсант, негромко, но четко, скомандовал «смирно!», потом «на право!» и рота, сделав четкий поворот, замерла.

Понявший это как принятие мира отделенный, подал команду «шагом марш!» и повел роту на ужин.

*

Бурину, как и всем остальным, выдали анкету и велели ее заполнить. Со страхом увидел он в ней : «Занятие родителей до революции (социальное положение, место службы или работы ...).

«Вот, — с тоской подумал он, — опять надвигается прошлое. Не написать правду — нельзя, а напишу — из армии выгонят. А, может быть написать, как для вуза: отец — служащий, мать — домашняя хозяйка? Нет, узнают, все равно выгонят, а узнают они все. Лучше правду написать, а там — будь что будет!»

Бурин заполнил анкету, подал ее и, каждый день ждал вызова в штаб. Представлял себе, как ему там скажут: «Вам, гражданин Бурин, не место в армии. Идите и поработайте еще!» Наконец, его вызвали. Ожидая

всякие неприятности, Бурин пошел. В канцелярии ему сообщили, что вызвал его комиссар полка, доложили комиссару и велели идти к нему. Бурин постучал в дверь, вошел, стал смирно и отрапортовал:

— Курсант Бурин, по вашему приказанию, явился.

Комиссар полка, участник гражданской войны, посмотрел внимательно на Бурина и спросил:

— Где вы работали, товарищ Бурин?

— На Тихорецком паровозоремонтном заводе.

— Кем?

— Слесарем.

— Сколько времени?

— Шесть лет.

Комиссар поглядел в лежащую перед ним папку и спросил:

— Были под Товарищеским судом?

— Был, товарищ комиссар.

— Расскажите, за что?

Бурин рассказал. Комиссар выслушал, усмехнулся и сказал:

— Так, значит, вы, председателем Производственного совещания, в один день и на «черной», и на «красной» доске побывали. Ну ничего! Бывает! — и приняв официальный вид, кончил. — Вот что, товарищ, курсант, идите и служите трудовому народу!

*

Полк вышел в лагеря. Новым было то, что Бурин, как и другие курсанты, проходил стажировку: сначала в роли командира отделения, а потом — старшины. Командовал он прибывшими в лагерь бойцами вневойсковиками, вчерашними колхозниками. Выглядели они, будто не из колхоза, а из больницы пришли. Бурин, сначала, не задумался над причинами этого, но вскоре пришлось задуматься. Однажды, после обеда его срочно вызвали, как старшину, в столовую. Придя он увидел, на скамье возле стола, лежащего маленького человека и узнал бойца своей роты. Боец держался руками за живот, лицо его было искажено болью и он тихо стонал.

— Что с ним? — спросил Бурин повара.

— Бачек каши один съел!

— Как так, бачек каши съел? Ведь бачек — двадцать две порции?!

— Да пришел, когда уже пообедали, добавок просить. Я ему бачек и высунул. Думал, поделит он, как наши, с товарищами. А он . . . один . .

Не слушая дальше Бурин вызвал санчасть и отправил бойца в больницу.

Этот случай заставил Бурина задуматься. А тут еще узнал он, что в соседнем полку случилось то же самое. Только там боец съел бачек не гречневой рассыпчатой каши, как боец Бурина, которую удалось выкачать, а бачек клейкой пшенной и умер.

«Наши, кадровые, сыты, а эти, — думал он, — как звери на пищу кидаются. Значит, дома у них голодно. У нас об этом ничего не говорят, будто все в порядке, а в порядке ли все? Спрашивать — страшно. Раз ничего не говорят, значит и допытываться не следует. О подкулачниках и саботажниках говорят, да эти голодные, на них не похожи. А, все-таки, может быть, они и есть саботажники? Нет, саботажников бы в армию не призвали. Чорт его знает, что думать? Во всяком случае, если бы они в колхозе хорошо работали, голодными бы не были! Все-таки, наверное, лодыри, если и не саботажники. В других колхозах всего хватает — политрук говорил — да не только хватает, но и миллионерами колхозы делаются. Значит, с этими невсе в порядке, если не саботажники, то, наверное, лодыри. На заводе тоже были лодыри и мало получали. А кто хорошо работал, хорошо и получал».

Придя к такому решению, Бурин стал искоса посматривать на своих вневойсковиков, ожидая подтверждения своего вывода.

Ждать долго не пришлось. В ротах начались странные заболевания — люди пухли. Так, просто, казалось без причины, опухнет человек, будто его водой налило. Санчасть переполнилась опухшими. Бурин думал, что без причины болезни быть не может, значит вневойсковики, чтобы не ходить на занятия, сами себя больными делают. Этот вывод подтверждался и тем, что никто из кадровых не опухал.

Бурина, вместе с другими старшинами, вызвал командир батальона.

— Товарищи старшины, — начал он, — вы знаете, сколько у каждого из вас в роте пухлых. А почему они пухлые? Знаете ли вы это? Это знать нужно, потому, вражеская это работа, кулацкий саботаж! Враги нашего государства пытаются всеми средствами сорвать наши успехи. Они не останавливаются ни перед чем, ни перед какой гадостью. Эти, что пухнут, попали под кулацкую пропаганду. Они сами не понимают, на чью мельницу льют воду, а на деле кулацкую линию ведут.

«Я тоже предполагал, что они не зря пухнут, — подумал Бурин, — от лени все это. Но как можно от кулацкой пропаганды пухнуть?»

И, будто отвечая на его вопрос, комбат продолжал:

— Это не случайные заболевания, товарищи, а организованный саботаж. Они соль пригоршнями едят, потом, как лошади, воду пьют и готово... Опухнет и от занятий освобождение. Срыв это боевой подготовки! Вражеской работе надо положить конец! Вот, товарищи старшины, нужно произвести осмотр палаток, да забрать оттуда соль. Сделаем это, они и пухнуть перестанут! Понятно?.. Можете идти!

Придя в роту Бурин начал осмотр палаток. Почти под каждым матрацем был кулек с солью и он собрал несколько ведер ее. Находил и думал: «И правда, — организованный саботаж! Но почему простые колхозники поддаются на кулацкую пропаганду? Ведь эти колхозники, вчерашние крестьяне, те самые крестьяне, отцы которых разбивали помещичьи имения и воевали в Красной армии. Если я, помещичий сын, не думаю о саботаже, то как же они?.. Ведь их революция вывела из полускотского существования, освободила от бар и дала землю. Мне той земли, которую они у нас взяли, не жалко, если я знаю, что другие, крестьяне, будут жить по человечески. А они?.. они и на отнятой у нас земле лодырничают, и в армии, которая призвана их же защищать, тоже лодырничают. Эх, попался бы в мои руки Некрасов, я бы ему показал, как славить «бедного мужичка», на «поте и крови» которого Россия дер-

жалась! Я бы его просто высек, чтобы не мутил зря людей. «Кому на Руси жить хорошо? —помещику, купцу, да уряднику!» А теперь нет ни помещиков, ни купцов, ни урядников и жить бы можно хорошо, так эти подкулачники всё дело срывают. Из-за них и нам, рабочим, жизни нет. А эти, партийные начальники, на нас — «бывших» вину сваливают. Боятся сказать открыто, что свои же, что в революцию всех грабили, и теперь только грабить, а не работать хотят. Я никого не грабил! И мои родные — никого не грабили! Жили, как все, да еще о «бедных мужичках» сожалели, а они эти мужички? Они только на чужое зарятся. Твое — мое, а мое — тоже мое!»

Бурин раздумывал, винил колхозников во всех неполадках и сам не замечал, как двоятся его мысли. Он, родившийся и выросший в рабочем поселке, почти ничего не знал о действительной жизни крестьян и старался забыть о жизни класса из которого вышел сам, старался думать так, как думал бы рабочий, но не мог. Где то, вне его воли, было сознание обиды причиненной его родным и ему самому и рабочими, и крестьянами, а главное — партией. Его увлекали красивые идеи всеобщего равенства, братства и свободы, но отталкивала злобность практики партии. Он готов был бороться за достижение всеобщей свободы, оправдывал даже исполнителей «красного террора», он помнил отцовское: «лес рубят, щепки летят!», но чувствовал себя чужим партии. Оправдывал и действия этой же партии, как направленные к общему благу, но не мог себе представить, как бы он мог вступить в нее. Само слово «партиец» вызывало в нем отталкивание, вызванное переживаниями в детстве, но, в то же время, он чувствовал себя беспартийным большевиком. Ему казалось, что «перемелется — мука будет!» и не будет больше стоящих над всеми и давящих всех партийцев, а все будут свободными гражданами нового государства. Ради достижения этого стоило жить, стоило бороться за это и можно было многое прощать.

Прошло несколько дней. В лагере поговаривали, что в окружающих его лесах скрываются саботажники и бандиты. Говорили, что в артдивизионе, ночью из леса,

пытались украсть замок орудия, а на посту, что на окраине лагеря, застрелили часового.

«То соль едят, то пытаются орудия портить, то еще хуже делают! — думал Бурин. — Вот, часового застрелили, а что он им сделал? Сволочи!»

Вечером, после поверки, Бурин отпустил бойцов на покой, а самому спать не хотелось. Черно-синее небо блестело миллиардами звезд, нагретая за день земля дышала теплом и в него вливались струи прохладного ночного воздуха. Дыша полной грудью Бурин прошел между палатками, где уже похрапывали бойцы, и вышел к передней линейке, по которой мерно ходили дневальные с винтовками «на ремень». Было тихо и казалось, что жизнь полка замерла, но дневальные напоминали об неуклонном движении армейской жизни. Почти весь средний командный состав и младшие командиры сверхсрочники ушли из лагеря в станицу, а в ротах остались одни, такие как Бурин, стажировщики.

«Пора спать, — подумал Бурин, — скоро одиннадцать, — и пошел в свою палатку. Сел на койку и начал стягивать сапог. Вдруг что-то щелкнуло. «Выстрел!» — мелькнуло в голове и тут же услышал какой-то крик, неясный и отдаленный и почти одновременно громкий призыв «помощь!» Еще, и еще и крик потек по лагерю. «Помощь! помощь! помощь!» кричали повсюду и Бурина охватил страх. «Банда из леса! — подумал он. — Втихую режут!» и почувствовал, как холодок пробежал по спине от пояса и скрылся в затылке. В палатках загудело, как в улье встревоженных пчел.

«Надо к бойцам!» — подумал Бурин и выскочил из палатки.

— Одеться! — прокричал он. — Из палаток не выходить!

«Помощь! помощь! помощь!» один этот взвинчивающий нервы крик и никаких, таких нужных сейчас, команд. Будто и штаб уже уничтожен и некому поднять тревогу. Рядом в роте старшина-стажировщик не выдержал напряжение неизвестности: «в ружье!» закричал он, переходящим в визг голосом. Бурин слышал, как застучали сапогами по твердой земле бойцы сосед-

ней роты, как в суете разбирали они из пирамид винтовки.

«Что он делает, дурак? — подумал Бурин. — Винтовки-то с просверленными стволами — учебные, да и патронов нет!» — и кинулся к передней линейке. По ней бежали бойцы и, что поразило Бурина, тянули, как в бою, пулеметы на катках. Увидев пробегающего мимо командира-стажировщика Бурин крикнул:

— Куда?

— Не знаю! — ответил тот. — Куда-нибудь!

За передней линейкой гурчали танкетки и из их люков выглядывали танкисты. К тяжелым орудиям подходили тракторы-тягачи, но противника не было видно. Только в воздухе висел непрерывный крик: «помощь! помощь! помощь!» А из штаба — ничего!

«Да что такое? — подумал Бурин. — Живые они там, или уже и там никого не осталось?» — и побежал к штабу. А лагерь кипел, бурлил, испуганный и не знающий откуда надвигается беда.

Бурин подбежал к штабу, увидел освещенные окна, за которыми метались тени. Двери штаба открылись и в вылившейся в ночь полосе света Бурин увидел сигналиста. Сигналист, спотыкаясь, сбежал со ступенек, поднял горн ко рту, но, подбежавший к нему дежурный по полку выхватил горн. Из палатки, находящейся рядом со штабом, выскочил командир полка.

— Что за базар? — заорал он.

Дежурный по полку кинулся к нему и стал что-то докладывать.

— Отбой! — громко приказал комполка. — Голосом!

— От-боой! — закричал дежурный.

В стороне еще кто-то крикнул «отбой!» и пошло по лагерю: «отбой! отбой! отбой!» и смешалось с «помощь!» Все чаще «отбой!» и все реже «помощь!» Наконец только «отбой!» и все стихло.

Утром, когда роты ушли на занятия, Бурин, как старшина оставшийся в лагере, узнал, что ночью помощник командира полка, возвращаясь из станицы, увидел за лагерем двух отделенных срочной службы с женщиной, окликнул их, а те, зная что за самовольный

выход из лагеря их накажут, бросились бежать. Помкомполка выстрелил, а женщина с перепугу закричала «на помощь!» На передней линейке стояли дневальные татары едва владевшие русским языком, а им перед нарядом втолковали, что всё что кричат на линейке нужно передавать дальше. Ближайший дневальный, услышав крик женщины тоже закричал «помощь!» и пошел этот крик по всему лагерю.

«Сейчас смешно, а ночью страшно было!» — подумал Бурин.

Лето подходило к концу. Стажировщики были опять собраны в роты и опять пошла совместная жизнь — по двенадцать человек в палатке. Перед рассветом Бурин проснулся от прозвучавшего слова «Ревтрибунал». Кто произнес его Бурин не знал, может быть это ему приснилось, но слово прозвучало так отчетливо, что Бурин встревожился и не мог заснуть. Ему казалось, что над ним повисла рука этого неумолимого трибунала. После обеда Бурин задержался в столовой, хотя уже наступил «мертвый час». Вдруг из расположения его роты вышли три человека — два с винтовками, а один, между ними, без винтовки и пояса. Курсант без винтовки был приятель Бурина, Переверзев. Тройка прошла мимо столовой и Бурин ясно вспомнил слышанное ночью слово Ревтрибунал.

«Переверзева арестовали! За что? — подумал Бураев, глядя вслед удалявшимся по направлению лагерной гауптвахты курсантам. — Наши и ведут, значит ничего особенного Переверзев не сделал!»

В роте об аресте Переверзева никто не говорил, будто ничего и не случилось. И это молчание показало Бурину, что с Переверзевым неблагополучно, что его не просто посадили на гауптвахту за какой нибудь проступок, а арестовали по приказу Особого отдела. И опять вспомнилось прозвучавшее так ясно слово Ревтрибунал. Через неделю Бурина назначили в наряд на гауптвахту. Там он увидел Переверзева, но, зная что часовым запрещено разговаривать с арестованными, дождался когда Переверзев попросился в уборную, чтобы поговорить с ним. Было странно и до боли обидно

вести под винтовкой приятеля и не верилось, что тот мог действительно быть врагом, но страх перед всезнающим Особым отделом сковывал волю. Словно совершая страшное преступление, Бурин, оглядевшись, сказал:

— Слушай, за что тебя посадили? Скажи, если что нужно . . .

— Что говорить? — перебил вполголоса Переверзев. — Посадили за скрытие социального происхождения. А ты со мной не разговаривай, а то и тебе достанется.

Вернувшись из наряда Бурин никак не мог забыть выражение лица Переверзева, которого он, как преступника, вел под винтовкой. Переверзев знал, что ведущий его приятель не верит в его преступность и желает ему только хорошего, но, как и он сам, подчинен неумолимому закону. Он был уверен, что, нарушивший из чувства товарищества этот закон и заговоривший с ним друг, если он вздумает бежать будет стрелять подчиняясь Уставу, и будет стрелять не в воздух — повинуясь выработанному упорной обработкой инстинкту курсанта. Его вел под винтовкой друг и, одновременно, находящийся под гипнозом военных традиций курсант. Переверзев боялся обидеть друга, не хотел показать холодности, но не мог, не рискуя навлечь на того кару страшного Особого отдела, показать свои истинные чувства. Борьба чувства, требующего откровенности с другом, и разума, повелевающего беречь его, отражалась на его лице. Бурина поразила смена выражений лица Переверзева и оставила в душе тяжелое чувство.

«Он, конечно, не бросился бы бежать, когда я вел его. Уже потому, что не стал бы мне подкладывать свинью, он не побежал бы. А что, если бы побежал? Лес был в двух шагах. Стоило бы мне промахнуться и он был бы свободен. А промахнулся бы я? — встал перед Буриным вопрос, на который он боялся ответить. — Во всяком случае он, слава Богу, не побежал. Страшно! Не буду лучше об этом думать!»

Долго не мог уснуть Бурин, но, в конце концов, усталость взяла свое и он забылся в тяжелом сне. Ему снилось, что он ведет куда-то Гаврюшку. Гаврюшка смот-

рел на него так, как когда рассказывал о смерти Вари. «Если тебя тема не интересует, — сказал Гаврюшка, — переменим!» и вдруг начал гримасничать. «Ты что, одурел, что ли?» — сказал Бурин, а Гаврюшка, с исказившимся от злобы лицом начал кричать: «До-ри-ан Грей! До-ри-ан Грей! Знаю, чего ты хочешь! Меня к себе не затащишь!» — и вдруг обратился в Нину. «Мы с тобой сыграем совсем другое! — приблизивши к нему насмешливое лицо прошептала Нина. — Я сейчас!» В руке Нины вдруг оказался Сашкин парабеллум. «Пой светик, не стыдись!» — сказал, вдруг оказавшийся возле нее Сашка, а Нина, подняв парабеллум выстрелила в него. Сашка засмеялся и сказал: «Вот как ты с ней!» Нина выстрелила еще, и еще. Лицо Сашки окаменело и стало страшным, тело сжалось в комок и он упал. Нина вдруг побежала прочь, оборачивась и хохоча. Бурин рванул затвор винтовки, подкинул ее к плечу, увидел на мушке спину Нины и нажал спуск. Курок противно медленно пополз вперед и винтовка не выстрелила, а Нина остановилась и крикнула: «До-ри-ан Грей, иди к чорту!»

Бурин проснулся, услышал храп спящих рядом с ним курсантов и подумал: «Фу, какой нелепый сон! Хоть бы опять, что-нибудь такое не приснилось!» — почувствовал предутренний холодок, натянул на себя одеяло и уснул. Проснулся разбуженный сигналом «подъем». Вставать не хотелось, но повинуясь привычке вскочил, натянул брюки и сапоги и пошел умываться. Подсунул голову по струю холодной воды, плеснул ее себе на грудь и почувствовал как захватило дыхание. Растираясь жестким полотенцем, глядел на фыркающих под холодными струями курсантов, на их сильные, обнаженные до пояса тела и думал:

«Как все на свете просто, и как люди портят жизнь. Вот они — молодые, веселые, здоровые, а предназначены для войны. Должны будут убивать, или сами будут убиты. И я должен буду убивать!»

В столовой смотрел на вновь прибывших вневойсковиков и думал, что, того и гляди, опять кто-нибудь из них объестся, но вражды к ним не чувствовал.

Возвратясь из столовой стал собираться на занятия, как услышал нараспев выкрикиваемое из штаба: «Курсаант . . .

Сердце его екнуло, как всегда когда он слышал вызов какого нибудь курсанта — его охватывало чувство неведомой беды, казалось что вызывают именно его, а в штабе встретят как врага, арестуют и, что страшило его больше всего, поведут под конвоем, как преступника.

— Буу-риин в штаб полка! — окончил вызывающий.

«Меня!» — чувствуя как застучало его сердце, с тоской подумал Бурин.

А на линейках, принявшие вызов дневальные уже кричали: «кур-саант Бурин в штаб полка!»

— Принято! — крикнул Бурин, одернул гимнастерку, проверил ровно ли посередине пряжка его ремня и пошел в штаб.

Войдя в штаб прошел с чувством тоскливого страха мимо двери с табличкой «Особый отдел» и вошел в канцелярию, стараясь ничем не выдать свое волнение. Увидел дежурного по полку, четко козырнул и доложил:

— Товарищ дежурный по полку, курсан Бурин, по вызову, явился!

— Вольно! — ответил дежурный. — Товарищ курсант, вас вызвал начальник штаба.

Начальник штаба выслушав рапорт Бурина, посмотрел на него, словно оценивая, и предложил сесть. Бурин сел и ожидая каких нибудь неприятностей нервничал.

— Вот что, товарищ курсант, — начал начальник штаба, — вас рекомендовали, как исполнительного и дисциплинированного будущего командира РККА. Я решил доверить вам выполнение ответственного задания. Помните что задание секретное и за разглашение секрета вы можете попасть под расстрел! Поняли, товарищ курсант?

— Понял, товарищ начальник штаба! — ответил, обрадованный тем, что вызов не связан с его происхождением, Бурин.

Начальник штаба объяснил, что Бурин должен будет перевезти секретное имущество штаба дивизии из

Краснодара в Ставрополь. Сказал, что для несения караульной службы и погрузки этого имущества он получит отделение бойцов и должен, взяв дневной рацион, выступить на следующий день маршем в Краснодар, сразу же после подъема.

День прошел в беготне. Бурин несколько раз ходил в штаб, получил отделение бойцов, осмотрел все ли у них в порядке, получил и распределил продукты. Удивило Бурина, что ему дали только недавно пришедших бойцов-вневойсковиков и боясь, что они съедят рацион еще до выхода в поход, приказал им сложить продукты в его палатке.

Утром, когда другие строились на завтрак, он построил свое отделение, заметил хмурые взгляды бойцов недовольных тем, что им приходится остаться без завтрака, проверил наличие рациона и воды в фляжках, убедился что все в порядке и повел людей из лагеря.

Идти нужно было сорок километров по еще не высохшей после недавнего дождя дороге, по обеим сторонам которой, в канавах, стояла чистая дождевая вода.

Бойцы хмуро поглядывали на идущего рядом с ними Бурина, досадуя что им, натощак, приходится месить вязкую дорожную грязь.

Когда отошли от лагеря километров пять, Бурин остановил отделение, опять проверил полные ли фляжки и скомандовал привал.

Смотрел на завтракающих бойцов и думал, что они едят с такой жадностью не потому, что «ведут кулацкую линию», а потому, что просто голодны, и что трудно верить, чтобы эти простые люди думали о каком нибудь саботаже. Решив, что съедено уже достаточно, приказал спрятать продукты. Объяснил бойцам, что они предназначены для выполнения секретного задания и несколько раз повторил, что за разглашение секрета — расстрел. Пугал людей расстрелом и думал, что лучше их сейчас так напугать, чтобы они боялись и во сне проговориться, чем потом видеть, как они попадут под суд.

После привала тронулись опять в путь. Солнце поднялось уже высоко и стало жарко. Бойцы стали про-

сить разрешения пить воду из канав, но Бурин запретил им это. Видел бросаемые на него злые взгляды и думал, что пускай они злятся сколько хотят, но пить им он, все равно, не позволит. Если им разрешить пить, они изойдут потом и обессилеют раньше конца марша.

Перед вечером увидели широкую полосу мутной воды Кубани, а за ней предместье Краснодара. Перешли через мост и Бурин скомандовал привал. Приказал раздеться, выстирать одежду и запретил есть до специального распоряжения. И опять видел злые взгляды бойцов. Когда все было сделано, Бурин разрешил купаться. Вошел вместе с бойцами в быструю реку, окунулся и поплыл, сильными взмахами бросая вперед руки. Формы, обращающие людей в послушных автоматов, остались на берегу и, казалось, стерлась граница между командиром и бойцами — осталась компания веселых, фыркающих в воде и обдающих брызгами один другого парней. Бурин вышел на берег и приказал кончить купанье. Отряхиваясь от воды, недовольно глядя на прервавшего развлечение командира, бойцы вышли на берег и, получив разрешение, так как были — неодетые, принялись доедать остаток рациона.

В зимних квартирах полка все было по-старому и Бураев чувствовал себя так, как будто вернулся домой. Странно только было видеть пустой безлюдный двор — в помещениях полка осталась только одна караульная рота. Бураев получил и раздал бойцам винтовки и патроны, отвел бойцов в казарму и приказал до своего прихода из казармы не выходить. Сам пошел на кухню.

— Здравствуйте, товарищ курсант! — встретил его повар. — С чем прибыли?

— Здравствуйте, товарищ повар! Прибыл я с бойцами. К вам просьба!

— Какая?

—А вот, какая, когда будете моим ужин выдавать, давайте хорошие порции, а как придут за добавком, давайте только борщ, а каши не давайте ни в коем случае!

— Почему, не давать каши? — с удивлением спросил повар. — У нас каши сколько хотите остается.

— Объедятся, потом беда будет! — и Бурин рассказал про происшествие в лагере — с вневойсковиком съевшим бачек каши.

Ужин был прекрасный: борщ с рыбой, вкусный и жирный и каша с маслом. Остававшиеся все лето в казармах кадровые бойцы ели не много и с удивлением смотрели на жадно глотающих пищу вневойсковиков. Когда кадровые ушли, Бурин сказал:

— А теперь, если кто хочет, можно получать добавок.

У окошка кухни сразу образовалась очередь и повар, посмеиваясь, высовывал оттуда полные бачки оставшегося борща. Бурин смотрел на радующихся возможности сытно наесться людей и жалел их.

Утром, когда строил на завтрак, услышал:

— Товарищ командир!

— Что такое?

— Товарищ командир, разрешите не идти на завтрак!

— Почему?

— Нездоровится, товарищ командир. Живот не в порядке!

Большая часть бойцов не захотела завтракать и Бурин радовался, что догадался предупредить повара о добавке. Объевшиеся борщем бойцы отделались только поносом, а случись это с кашей — была бы беда.

Получив в штабе дивизии подробные указания, Бурин повел свое отделение на «Черноморку». «Черноморкой» называли огнеприпасные склады расположенные на окраине Краснодара. Бурин не раз был там в карауле и, как часовой, ходил взад и вперед с винтовкой «на ремень» мимо стен больших деревянных сараев с надписями «огнеопасно». Склад был обнесен забором из колючей проволоки, обросшим высокой травой. Часовым приказывали стрелять без предупреждения в каждого пытающего проникнуть за этот забор и было несколько случаев, когда часовой стрелял в нарушителя. Правда, поговаривали, что «нарушитель» лез спьяна, но начальство награждало застрелившего его бойца и ставило в пример другим, как сознательного красно-

армейца, бдительно охраняющего имущество Красной армии от покушения врагов. Бурину казалось странным, что такой ответственный объект, как склад огнеприпасов, расположен совершенно открыто да еще в деревянных сараях с такими надписями, что только дурак не мог понять что в них находится. Однажды, будучи в карауле на «Черноморке», Бурин получил от начальника караула, такого же как и он курсанта, распоряжение сменить часового. На смену обычно выходили все сменные под командой начальника караула и Бурина удивило необычное распоряжение.

— Слушай, — сказал он, — как же без тебя? Часовой не пустит!

— А чепуха! — ответил начальник, которому не хотелось идти на холод. — Что он тебя не знает, что ли? Иди!

Когда Бурин подошел к посту, где он должен был сменить часового, тот закричал:

— Стой!

— Не кричи! Иду сменить тебя! — ответил Бурин, думая, что тот только так, для формы кричит и шагнул вперед.

— Стой! стой! — не своим голосом закричал часовой и щелкнул затвором.

— Вот, сумасшедший! — сказал пятясь Бурин. — Я сейчас приду с караульным.

Вернувшись в караулку Бурин сказал караульному начальнику, что часовой чуть не застрелил его и он больше не пойдет один на пост. Караульный начальник, побурчав, собрался и повел Бурина на смену.

Сменяясь, часовой взволнованно сказал:

— Ты сумасшедший! Меня так назвал, а сам, без караульного, на пост лезешь. Не знаешь, что ли, что я должен был стрелять? Еще немного и ухлопал бы тебя!

Бурину нужно было стоять на посту два часа. Глядя на ограду из колючей проволоки, он думал:

«Что если сейчас у этой проволоки появится человек? Я должен буду выстрелить в него и убить. Убить, может быть, совершенно невинного, пьяного человека.

И я не имею права даже окликнуть его. У него не будет никаких шансов. А я? Я буду убийцей! А по закону, я буду героем. Страшные законы! Но так идет спокон веку. Наполеон убил миллионы людей, а считался героем. Суворов посылал на смерть русских солдат, говорил, что «пуля дура, а штык молодец!» Он не только заставлял убивать, но убивать штыком. Втыкать железо в живое человеческое тело. И никакими угрызениями совести он не терзался. А Раскольников, убивший только одну старуху, мучился невероятно. Почему? Потому, что нет границы между добром и злом. Убей тысячу, но так чтобы твоему народу это было выгодно и тебя назовут героем, а убей одного, так, чтобы другие боялись за свои жизни, и ты — преступник. Убей! А что значит убить? Прекратить, быстро, рывком, полную страданий жизнь. Тот, кого убъешь, может быть, и не поймет, что умирает. А после? После убийца, если он не идиот, страдает угрызениями совести, вызванными его собственной фантазией. А мертвый ничего не чувствует. А оставшиеся родственники? жена? Эти действительно страдают. Но об них убийца редко думает. Только о самом убитом! Какая ничтожная букашка человек! Вот я, когда решаю тактическую задачу, считаю просто: у меня рота, в обороне взвод противника. Наступать можно. Мои потери будут, примерно, сорок человек. А думаю ли я при этом, что значит это «потери сорок человек»? Ведь это страшно — сорок мертвых, холодных закостеневших трупов, которые, перед наступлением, думали и надеялись. А я считал их, как пешек, столько-то имею, столько-то потеряю. Страшно! А самое страшное, что не только я так считаю, все так считают! Учим с детства «Не убий!», а учимся убивать. Все равно под каким лозунгом! Раньше — «За веру, царя и отечество!», теперь — «За социалистическое отечество!» «И создал Бог человека, по образу и подобию своему». Какая тут несуразица! Хорош образ! Кровь, кровь с древности и по сегодняшний день! Все герои убийцы, а не способные убивать, — трусы и предатели! Во всем борьба за существование. Выживают не самые добрые, а самые сильные. Если так, то над миром стоит что-то холодное, не злое, нет! Злое не может быть таким

холодным, злое все-таки чувствует, а это «что-то» лишь думает, рассчитывает. Для него, может быть, мир это вовсе не люди, а система небесных тел, живущая указанной ей жизнью. А в этой системе Земля, — маленькая пылинка, населенная бактериями, одной из которых является человек. Одни бактерии содействуют гниению, другие имеют иные функции. А самая страшная бактерия, — это человек. Он все преобразует, все использует. Думает что делает это для себя, а в действительности выполняет закон «чего-то». Холодный, неумолимый закон. Живет пылинка-Земля молодая и человек-бактерия мало активен. Стареет Земля и становится активнее человек-бактерия. «Открывает» огонь и преобразует, омоложает остывающую Землю; «открывает» пар, «открывает» электричество и все больше и больше меняет облик Земли. А кому это нужно? человеку? Так кажется, а на самом деле это нужно Закону, который руководит всем. Страшный мир! Страшно думать, что им руководит «что-то» бесчувственное! И прав был, кажется Вольтер, сказавший: «Если бы Бога не было, его нужно было бы выдумать!» Иначе, думающая бацила может сойти с ума, а это не в интересах «чего-то». Вот проклятый заколдованный круг! Думай потому, что так приказало «что-то», понимай, что это «что-то» бесчувственное, и, если ты думаешь, не смей «его» даже ненавидеть, потому что нельзя ненавидеть бесчувственное, — оно не виновато! и, чтобы не сойти с ума, выдумывай «что-то» по образу и подобию своему, а когда выдумаешь и поверишь в «что-то», нарушай заповедь и убивай, — значит, выполняй Закон «чего-то» не имеющего никакого, понятного тебе, образа!»

Теперь на эту «Черноморку» шел Бурин со своим отделением. Подойдя к воротам позвонил, дождался прихода караульного начальника, показал документы и вошел во двор. В сопровождении караульного начальника подошел к дверям первого амбара и, после того как караульный начальник сверил образец печати показанный ему Буриным с печатью на замке, Бурин вскрыл склад. С любопытством открыл дверь, ожидая увидеть множество ящиков с боеприпасами, но увидел

только несколько полевых кухонь, да моток колючей проволоки. То же самое оказалось и в других амбарах.

«Вот тебе и огнеприпасный склад! — думал Бурин глядя на бойцов выкатывающих кухни из амбара. — А мы все всерьез принимали, кухни от врагов охраняли!»

Погрузивши кухни и проволоку на платформы поданного на запасный путь железнодорожного состава, Бурин повел отделение в штаб дивизии. Там получил документы на вскрытие склада секретного имущества дивизии и повел туда отделение. Шел и думал, что там, того и гляди, придется опять кухни грузить. Но придя убедился что грузить придется действительно секретное имущество: противогазы, автоматы и скорострельные винтовки, вообще все то, что было подготовлено на случай войны, а пока держалось в секрете. Склад был огромный и работать пришлось, день и ночь, трое суток. К концу погрузки бойцы так измучились, что каждый раз, когда уходил нагруженный автомобиль и была секундная пауза, ложились прямо на землю и тотчас же засыпали. Бурину спать было нельзя, он отвечал за все. Чувствовал свинцовую усталость, но силой воли преодолевал ее. И сам удивлялся своей выносливости. Наконец, все было погружено и Бурин, расставив часовых на площадках вагонов, мог немного отдохнуть.

Поздно ночью эшелон прибыл на станцию Кавказскую и остановился. Бурин узнал от дежурного по станции, что эшелон простоит часа два. От Кавказской до Тихорецка было всего шестьдесят километров и Бурину казалось, что он почти дома. Тоска охватила его, захотелось увидеть мать. В это время подошел пассажирский поезд. Бурин подумал, что если сейчас сесть в него, через час он будет дома, посмотрит и сейчас же поедет назад. Может быть даже успеет захватить эшелон еще в Кавказской, а если и нет, то легко догонит его в пути. Он уже кинулся было к билетной кассе, но на полпути остановился, вспомнив, что за самовольную отлучку попадет под суд. Поглядел на блистающие в черно-синем небе звезды и с тоской подумал:

«Они такие же и в Тихорецке и, может быть, мать тоже сейчас смотрит на них».

Пассажирский поезд тронулся и пошел. Бурин глядел на мелькающие мимо освещенные окна и завидовал сидящим в вагонах пассажирам. Когда скрылись и красные фонари на последнем вагоне, глядел на уходящие домой рельсы и тосковал.

Подошел набравший воду паровоз, эшелон лязгнул буферами и этот лязг вернул Бурина к действительности. Прихрамывая, от жмущих отекшие ноги сапог, он пошел в свой вагон, сел, привалился к стенке и, когда состав дернулся и застучали колеса, уснул.

В Ставрополе разгрузил эшелон, доложил об этом в штабе, получил от имени командования благодарность и билеты для себя и бойцов в театр. Беря билеты подумал, что вряд ли усталых людей будет интересовать спектакль. Вернулся к отделению, выстроил его и передал благодарность командования.

— Служим трудовому народу! — весело ответили бойцы.

«Вот, — подумал Бурин, — формальная благодарность подняла настроение людей. До чего люди любят проявление чувства, даже если оно проявляется по-казенному, как сейчас. Странная букашка человек!»

В театре, усадил бойцов в предоставленной им ложе, смотрел спектакль и услышал храп, оглянулся и увидел, что бойцы безмятежно спали.

На другой день пришел грузовик, чтобы отвести их на станцию. Оборванные, как после боевых действий, бойцы, шутя и подталкивая один другого, влезли в кузов автомобиля, а Бурин сел рядом с шофером. Глядел на бегущий под колеса автомобиля асфальт дороги и, вдруг, увидел, что на дорогу выбежала девочка, побежала, споткнулась и, прямо перед автомобилем, упала. Автомобиль рванулся в сторону, прямо перед глазами Бурина выросла высокая каменная стена, автомобиль опять дернуло в сторону и стена промелькнула мимо, так близко что, казалось, автомобиль трется о нее и опять побежал навстречу серый асфальт. Бурин взглянул на шофера. Тот, бледный, откинулся на спинку сидения и сказал, устало улыбнувшись:

— Чуть-чуть девчонку не переехал!

— Чуть-чуть — не считается! — ответил Бурин. — А вывернул машину молодцом. Я уже думал, мы все в стенку влипнем!

— Чорт бы ее взял! Бежит, как скаженная! — как бы извиняясь промолвил шофер и смущенно взглянул на Бурина. — Из-за нее было всех не угробил!

«Молодец! — подумал Бурин. — Сам жизнью рисковал, а сейчас, будто прощения просит!»

В поезде Бурин занял часть вагона, назначил дневальных и велел им никого в занятые отделения не пускать. Ожидая когда поезд тронется, разговорился с сидевшей у самого прохода молодой женщиной, узнал что она жена командира, едет к мужу и везет ему его обмундирование. Когда поезд дрогнул и пошел, постукивая колесами и дергаясь в стороны на стрелках, Бурин вернулся к бойцам, посмотрел на мерно шагающего по проходу дневального и лег. Проснулся от того, что перестало качать. Поезд стоял. Бурин выглянул в окно — станция Кавказская. Несколько пассажиров теснилось у выхода и не успели они выйти, как в вагон протолкался какой-то оборванец.

«Какой несимпатичный тип!» — подумал Бурин.

Поезд тронулся и Бурин смотрел на проплывающие мимо станционные постройки, а когда они кончились и за окнами стало темно, вышел в проход. Оборванец сидел недалеко от жены командира и Бурин опять подумал: «несимпатичный тип!» Прислушался к постукиванию колес, почувствовал как дергается из стороны в сторону вагон и подумал, что поезд идет по выходным стрелкам. В это время громко вскрикнула женщина. Бурин взглянул туда откуда был слышен крик и увидел что жена командира ухватясь за свой чемодан, полуприсев, как на коньках, едет по проходу к выходу за тянущим чемодан оборванцем. Раньше чем Бурин успел что-нибудь предпринять они исчезли в дверях ведущих на площадку между вагонами. Кинувшись вслед, Бурин выскочил на площадку и сначала не увидел ничего, кроме качающейся на фоне синего неба черной крыши переднего вагона, потом услышал где-то внизу стон, присмотрелся и ахнул: на буфере висела женщина. Рискуя сорваться с площадки под колеса ухва-

тился за нее и, с помощью подоспевших бойцов, вытащил на площадку. Ввел, еле держащуюся на ногах. женщину в вагон. Ее окружили пассажиры, кто-то предложил остановить поезд, другой перебил и сказал, что нет никакого смысла — все равно босяка ночью не поймаешь. Женщина плакала, размазывая руками грязь по лицу, а поезд, мерно и четко стучал колесами, которые, будто бы, говорили: «ах, как труд-но! ах, как труд-но!»

Возвратясь в казармы Бурин велел бойцам вычистить винтовки, а сам пошел в канцелярию, доложил о своем возвращении и получил неожиданное распоряжение — немедленно отпустить бойцов по домам. Это распоряжение удивило Бурина, потому что бойцы должны были пробыть на переподготовке еще три недели. Раздумывая о причине преждевременного отпуска их домой, он решил, что это делается в целях сохранения секрета, чтобы они не могли ничего рассказать другим бойцам.

Вернувшись к бойцам. проверил как вычищены винтовки, собрал и пересчитал боевые патроны и велел все нести в склад. Сдал винтовки, но патроны сдать не мог, не было заведующего огнеприпасным складом. Пришлось тащить патроны назад в казарму. Не желая из-за этих патронов задерживать людей, выстроил их, объявил об отпуске домой, сказал где и как сдать форменное обмундирование и приказал разойтись. Сам, не глядя на бойцов и думая, что они рады избавиться от «собаки командира», пошел в ротную канцелярию.

— Товарищ командир! — окликнул его кто-то.

Бурин обернулся и увидел идущего к нему бойца.

— Товарищ командир, давайте попрощаемся! — совсем по граждански протянул боец руку Бурину и смущенно сказал: — Мы вас сначала...

— За злую собаку считали! — вывел из неловкой паузы Бурин. — Я знаю это. Служба есть служба! А сейчас?..

— Сейчас, — широко улыбнулся боец, — сейчас — спасибо за заботу!

Как-то сразу исчезла разделяющая стена между командиром и бойцами. Остались простые хорошие люди.

— А с борщем, это здорово вы надумали! — сказал вдруг другой боец. — Мы как получали его, на вас злились, что кашу запретили нам давать.

— Откуда вы знаете, что я запретил?

— Да повар сказал, мы у него кашу просили, а он говорит, — нельзя! ваш командир запретил!

— А на другой день, когда животы болели, — смеясь добавил третий, — благодарны вам были.

Бурин попрощался со всеми, как со старыми друзьями, искренно пожелал им всего лучшего и остался один. Вспомнил про патроны, взял мешок с ними и потащил его в склад.

Заведующий складом, поглядев на патроны, сказал:

— Я товарищ курсант, патроны принять не могу!

— Почему?

— Не вычищены.

— А что же я, теперь, с ними буду делать?

— Велите вычистить, да смазать, тогда приму.

— Да я уже бойцов отпустил!

— Это меня не касается! Мое дело — чистые патроны принять!

Досадуя на твердолобого зав. складом, Бурин потащил патроны в казарму. Там полдня чистил и смазывал их утешая себя воспоминаниями о прощании с бойцами.

«Да, — думал Бурин, глядя на лежащую перед ним груду грязных патронов, — они бы вычистили их в четверть часа, а мне нужно полдня возиться! Ну и ничего страшного! Вычищу, все равно время есть. А они уже теперь домой едут, радуются. И четверть часа, иногда, много радости приносит. Вот какие странные существа люди. Кажется простые мужики, а сердце в них есть. Как хорошо тот, что о борще говорил, смеялся. И как немного нужно, чтобы человека обрадовать. Покажи ему немного заботы о нем и доволен человек: на смерть идет, как солдаты Суворова, за того, кто о нем заботится. А все-таки досадно, что патроны они не вычистили! У меня уже и пальцы болят, а конца не видно! Не был бы раззявой, заставил бы вовремя вычистить, и не мучился бы!»

Лагерная учеба должна была кончиться большими тактическими учениями, а перед ними должна была быть проведена инспекционная стрельба. Придя на стрельбище Бурин смотрел как разносили мишени по окопам, откуда, на расстоянии сто пятидесяти метров от линии огня, должны были поднимать мишень «голова» и на расстоянии четырехсот метров — мишень «стрелок с колена». Пришел политрук, собрал курсантов и стал говорить о социалистическом соревновании, о необходимости показать высокое качество стрелковой подготовки, о заключении соревнования на выполнение сегодняшней стрелковой задачи. Бурин слушал и думал, что ему соревноваться не нужно. Он, на пробах, стрелял сверхотлично, а есть и такие, что ни при каком соревновании в мишени не попадут и интересно, как политрук выйдет из этого затруднения.

Заиграл сигнал «по-па-ди!» и на линии огня загремели выстрелы. Бурин слушал, как шумели в лесу и щелкали по деревьям пули и думал:

«Вот, сейчас они шумят и щелкают по деревьям, а может прийти время, когда они будут щелкать по людским телам. Только тогда звук будет мягче, да после каждого щелчка будет течь не древесный сок, а теплая кровь. После каждого такого щелчка будут приникать к земле убитые и стонать раненые. Вот свистит рикошетная пуля! А что если она попадет в голову? Весь мозг вывалит, как Сашка рассказывал».

Рота начала стрелять. Курсанты, по три, становились в двадцати пяти метрах от линии огня, по команде бежали к ней, ложились, заряжали винтовки и, как только появлялись мишени, открывали огонь. Пораженные мишени скрывались сразу, а другие стояли пока кончалось отведенное на стрельбу время в сорок пять секунд. Каждому выдавали шесть патронов и стрельбу оценивали так: поражены обе мишени четырьмя патронами — отлично, пятью — хорошо, шестью — удовлетворительно. В стрелявших до Бурина тройках были хорошие и средние стрелки и не пораженных мишеней не было. Когда подошла его очередь, он посмотрел на стоящих с ним рядом курсантов и ахнул. Спра-

ва стоял Плещаев, а слева Мозговой, оба — самые плохие в роте стрелки. Но раздумывать уже было некогда. Прозвучала команда, Бурин побежал, упал на линии огня, рванул затвор и вдавил в магазин обойму патронов. Из окопов показались мишени. Поймав низ «головы» на мушку Бурин выстрелил и мишень исчезла. Перевел винтовку на дальнюю мишень и услышал голос комбата: «прицел!»

— С постоянного! — бросил не оглядываясь.

Поймал на мушку голову мишени и нажал спуск, мишень исчезла. Отложил винтовку в сторону и сейчас же услышал голос комвзвода:

— Вы кончили? — и одновременно шопотом. — Стреляйте!

Взял винтовку и слыша выстрелы лежащих по сторонам от него курсантов увидел, что справа осталась стоять мишень «с колена», а слева — у Мозгового, обе. Прицелился, выстрелил и мишень справа исчезла, поймал на мушку мишень «с колена» слева, нажал на спуск и она скрылась, прицелился в «голову», хотел выстрелить, но она вдруг исчезла — Мозговому удалось шестым выстрелом попасть в нее.

Ожидая команду «встать!» увидел быстро идущего к нему инспектирующего. «Заметил, что что-то неладно! — подумал Бурин. — Сначала мишени стояли, а потом, как ветром смело! Ну, со мной он ничего не сделает, я своими патронами стрелял».

— Товарищ курсант, сколько раз вы выстрелили?

— Четыре!

— Покажите патроны!

Бурин показал два оставшиеся патрона.

— Покажите гильзы!

Бурин показал четыре гильзы. Инспектирующий с недоумением посмотрел на него, но ничего не сказал, повернулся и ушел. а Бурин подумал:

«Поймать хотел! Думал, что я чужими патронами стрелял. А и здорово же выдумали наши командиры: мне в тройку самых плохих стрелков!»

Когда шли со стрельбы Бурин увидел свою фамилию на огромной «красной доске» в рубрике «Благодар-

ность за отличную стрельбу» и подумал: «А узнали бы, что я четырьмя патронами четыре мишени сбил, вместо благодарности на гауптвахту посадили бы!»

Настал день больших тактических учений. Две роты курсантов с приданными им взводом сапер, химвзводом и противотанковыми пушками, рано утром выехали на автомобилях к небольшой речке в восемнадцати километрах от лагеря. Комбат объяснил задачу:

— На нас наступают Кавалерийская школа и кавалерийский полк, им придан дивизион танкеток. Полоса их наступления — один километр. Наша задача задержать их наступление на лагерь до вечера.

Роте, в которой был Бурин, было приказано занять позицию в пятистах метрах от реки. Лежа возле пулемета Бурин смотрел как саперы срезали отвесно берег реки, а другие моторными пилами валили лес, так что оставались метровые пни, а упавшие деревья оставались висеть на пнях, переплетаясь вершинами и образуя непроходимый завал. Перед завалом саперы укладывали мины и привязывали идущие от их взрывателей шнуры к деревьям завала. Окончив работу саперы побежали к автомобилям, вскочили на них и уехали, чтобы приготовить завал и в расположении второй роты, занявшей позицию сзади.

На спуске к реке появились танкетки «врага». Быстро спустились к воде, разбрасывая брызги вошли в нее, переползли неглубокую речку, уперлись носами в отвесно срезанный берег и беспомощно заерзали. От завала рявкнули противотанковые пушки, в ответ застрекотали пулеметы танкеток. «Бой» начался.

Когда «противник» стал приближаться к завалу, рота получила приказ отойти. Курсанты побежали назад, быстро погрузили оружие в автомобили и веселые покатили назад. Бурин видел, как покрыло дымом взорвавшихся около завала мин первые неосторожно наехавшие на него танкетки «врага». Из других танкеток стали бросать в завал крюки на длинных веревках, чтобы подорвать мины.

Проскочили через оставленную во втором завале брешь и Бурин увидел курсантов второй роты, весело

кричащих что-то и приветственно размахивающих руками. Пронеслись мимо них и заняли позицию за третьим завалом. Бурин хорошо видел позицию второй роты. Впереди зарявкали противотанковые пушки, застрочили пулеметы и защелкали винтовки.

«Подходят к завалу!» — подумал Бурин.

Через несколько минут увидел как засуетились возле завала и побежали к автомобилям люди. Минута и автомобили рванулись и понеслись к завалу, за которым лежал Бурин. Подлетели к бреши и проскочили дальше. Несколько саперов, тотчас же, закрыли брешь.

Несколько минут впереди было тихо и не было заметно никакого движения. Вдруг, возле завала, в нескольких местах, взлетели вверх черные клубы дыма и Бурин услышал буханье взрывающихся мин.

«Крюками растаскивают завал! — подумал он. — Сейчас начнут через него перелазить».

Через образовавшиеся в завале бреши проскочили танкетки и сразу же зарявкали, справа от Бурина, противотанковые пушки. Вслед за танкетками, перебегая и падая, показались спешенные кавалеристы. Бурин прижался щекой к прикладу пулемета и, услыша команду «огонь!», нажал на спуск. Пулемет задергался, неся условную смерть условному врагу. «Враг» дошел до зараженного, условно, химическим отравляющим веществом участка и не обращая внимания на стоящие там таблички с надписями «иприт», продолжал движение вперед.

— Хии-миик! — закричал, находившийся недалеко от Бурина комбат. — Дайте им нейтрального дымку!

Через минуту впереди Бурина задымили дымовые шашки и густой дым, увлекаемый легким ветерком, потянулся полосами в сторону «врага». Бурин знал, что значит переход через поле зараженное ипритом. Нужно было одеть не только противогазы, но и специальные противоипритные халаты и чулки, а это, при тридцатипяти градусной жаре и в духоте леса, было пыткой и сочувствовал наступающим. А те, двигались, как ни в чем не бывало, дальше.

— Хии-миик! — опять закричал комбат. — Они идут без противогазов. Дайте им ядовитого дымку!

В уже начавшие ослабевать полосы дыма влились новые, действие которых Бурин хорошо знал и представлял себе, как заслезятся обожженые им глаза «врагов», как перехватит их дыхание, и как они, задыхаясь и кашляя, кинутся надевать противогазы. Комбат, со злорадным видом наблюдал в бинокль ожидая результат своего приказа, а Бурин увидел, как внезапно заметались впереди фигурки и подумал:

«Не будь это игрой, сейчас там было бы ужасно: слепые люди под косящим огнем, не могущие даже в последние секунды своей жизни увидеть небо!»

«Враги», после небольшой паузы, надев противогазы и, вместо противоипритных халатов, шинели, опять двинулись вперед.

«Не хотел бы я быть сейчас на их месте!» — подумал Бурин.

— Отход! — закричал комбат и все кинулись к автомобилям.

День подходил к концу, а перед «противником» лежало большое минное поле и до лагеря оставалось еще километров пять. Бурину было жаль наступающих; он представлял себе, как они измучены и думал, что хорошо было бы, если бы начальство прекратило занятия. К его удовольствию, заиграл сигнал «отбой!» Саперы поставили бойцов «маяков», чтобы те указали наступавшим проход через минное поле. Оборонявшиеся погрузились в автомобили и поехали в лагерь. Только когда Бурин умылся, вычистился и стал собираться на ужин, в лагерь вошла колона «противника». Запыленные и усталые курсанты Кавшколы смеясь похваливали защитников, а красноармейцы кавполка и слушать не хотели, что в обороне было только две роты. По их мнению, оборонялась по крайней мере дивизия.

Через несколько дней полк выступил из лагеря на зимние квартиры. За день прошли более сорока километров и усталые, покрытые пылью остановились у Кубани перед Краснодаром. Последовал приказ почиститься, умыться. После небольшого отдыха двинулись в город. Бурин шел и чувствовал, что едва волочит ноги. На окраине ждал полковой духовой оркестр. Музы-

канты выстроились впереди, грянул марш и Бурин почувствовал, что музыка вливает в него новые силы. Полк, только что еле тащившийся, взял ногу. А когда шли по улицам, трудно было подумать, что эти веселые и четко рубящие шаг бойцы имеют за собой сорокапятикилометровый марш.

Окончились экзамены по теории и Бурин ждал выпуска. Вечером роту выстроили в казарме. Стояли «вольно» и ждали.

— Ротаа смиир-но! — скомандовал комроты, увидев вошедшего комбата. — Равнение на середину!

— Товарищ командир батальона, первая рота, по вашему приказанию, выстроена!

— Вольно! — скомандовал комбат. — Товарищи командиры!

Бурин не понял к кому относится обращение.

— Товарищи командиры, — смакуя эти слова продолжил комбат, — поздравляю вас с великой честью служить командирами в рядах РККА на защиту нашей великой родины. Ура, товарищи!

— Урраа! урраа! урраа! — прогремела рота.

— Товарищи командиры, да здравствует великий Сталин, ведущий нашу страну от победы к победе! Да здравствует руководимая им коммунистическая партия! Да здравствует выпестованная им непобедимая Красная армия! Ура! товарищи.

Бурин кричал ура и чувствовал обиду за то, что комбат упомянул Красную армию в самом конце.

И вдруг комбат, совсем по простому, сказал:

— Вот, товарищи командиры, мы с вами теперь приятели. Верно не раз сердились на «собаку батальонного»? Теперь уже не буду допекать вас!

«Вот, — подумал Бурин, — и он, как я тогда бойцам, сказал».

А комбат пошел вдоль строя, пожимая новоиспеченным командирам руки. За ним комроты и, перешедшие внезапно на «ты» комвзводы.

Обойдя всех, комбат вышел на середину и сказал:

— Можно разойтись, товарищи командиры! — и усмехнувшись добавил. — Только не забудьте в канцелярии кубики взять!

Только надев на петлицы красные кубики комвзвода понял Бурин, что учеба кончилась и он уже командир, но все-таки, при виде товарищей с такими же кубиками на петлицах, ему хотелось, по привычке, вытянутся перед ними.

Все пошло по новому. В ожидании отъезда по домам было нечего делать и Бурин бродил по казарме или, нарушая обязательное до этого правило, спал в полной форме. После обеда казарма оживала, подтянутые блестящими ремнями новые командиры спешили в город, покорять сердца краснодарских барышень. Бурину нравилось, что он может уходить из казармы без увольнительной записки, которую раньше давали раз в месяц, да и то только на два часа. Нравилось, что часовой на воротах не только не спрашивал записку, но, видя среднего командира, становился «смирно».

Идя по главной улице Краснодара «Красной», было приятно думать, что все встречные смотрят на него, командира РККА, так казалось Бурину. Барышни охотно знакомились с комсоставом и Бурин без труда, познакомился с первой, приглянувшейся ему.

Прошел с ней несколько шагов и поравнялся с продуктовым магазином. Барышня вдруг остановилась и сказал:

— Ах, товарищ командир! Я забыла хлеб купить. Может быть вы можете, для меня, — и лукаво улыбнулась, — купить?

— Охотно! — ответил Бурин. — Для вас, с удовольствием!

Прошел мимо стоявшей в мазине длинной очереди и, наслаждаясь своей привилегией, купил хлеб. Важно вышел из магазина и передал хлеб барышне.

Пройдя с ним еще несколько шагов, барышня сказала:

— Простите меня, но мне нужно домой! Там меня ждут.

Бурин попытался уговорить ее погулять еще немного, но барышня попрощалась и ушла. Оставшись один, Бурин, досадуя на столь быструю разлуку, прошелся по улице, увидел другую барышню и очень легко с ней

познакомился. Но опять повторилась та же история, что и с первой. Как только дошли до открытого магазина, барышня попросила его купить хлеб для нее, получила его и распрощалась. То же с третьей. Бурин шел и думал:

«Что за диво? Знакомятся, смеются, потом «купите!» и «до свиданья!»

Бурину и в голову не приходило, что «на воле» голод и барышни используют возможность купить что-нибудь при помощи командира.

Однажды, когда все спали после обеда, пришел комбат, велел всех разбудить и начал:

— Так вот, товарищи, такое дело . . . получили особое задание. Нужно будет получить оружие в складе . . . пока выхода в город не будет. Нужно будет опять по-взводно организоваться и старые командиры взводов у вас будут, — и смущенно улыбнулся, — ничего, это на пару дней!

Пришли старые командиры взводов, хмурясь построили свои взводы и повели к оружейному складу. Там получили, на каждых четырех человек, по станковому пулемету, для каждой винтовки гранатомет Дьяконова и уйму боевых патрон и пулеметных лент. До полуночи приводили оружие в порядок, набивали патронами пулеметные ленты. Раздумывать было некогда.

Утром пришел комбат, опять собрал всех и смущенно, сказал:

— Вот, товарищи . . . дело такое . . . неудобно средним командирам в строю, если понадобится, с винтовками и пулеметами маршировать . . . Нужно по-красноармейски переодеться . . . на пару дней.

Через пару дней просочился слух, что станицу Полтавскую будут выселять — всех, как кулаков. На случай восстания приготовили комсоставскую роту. На Бурина это подействовало удручающе. Он знал, что за невыполнение боевого приказа командиру грозит расстрел и, значит, если будет восстание, придется стрелять в беззащитных людей. Знал, какую кровавую баню может устроить рота, вооруженная так, как вооружили их, и страшился думать о возможности кровопро-

лития. Глядел на товарищей и видел, какие сумрачные они стали. На койках, апатично глядя в потолок, лежали, вчера еще веселые, молодые командиры, а между коек бродили, тоже сумрачные, командиры взводов.

В курилке собралось человек двадцать. Бурин курил и глядел на нервно затягивающихся товарищей. Думал, что то страшное для него, что надвигается, угнетает и их, но все молчат. Какая-то сила заставляет их молчать. Тишину нарушил красивый, рослый, с высоким окаймленным черными вьющимися волосами лбом и энергичным лицом комсомолец, Стукан. Будто говоря сам с собой, он произнес:

— Ленин говорил, что в России три процента кулаков. А как же может быть все население станицы кулаками?

— Значит, может, — ответил стоявший возле Стукана секретарь комсомольской организации полка, Сагайдак, — если партия так говорит!

Стукан ничего больше не сказал. Молчали и другие. Бурин подумал, что говорить на эту тему рискованно, зря и Стукан начал, но тут все свои, вряд ли кому придет в голову дело поднимать. Один Сагайдак отозвался, но ему и нужно было отозваться, на то он секретарь комсомола.

Сагайдак показывал себя всегда как рубаха парень. На Бурина, при первой встрече, он произвел отталкивающее впечатление. Рыжий, с круглым покрытым веснушками лицом с хитрыми глазами, с пальцами кончающимися по ястребиному загнутыми ногтями, он не мог произвести другого впечатления. Но постепенно Бурин привык к Сагайдаку. Для Стукана же Сагайдак, как товарищ комсомолец, должен был быть своим человеком.

Бурину приснилось, что в казарму, когда все спали, пришла комиссия и, проходя вдоль коек, осматривает лежащих на них. Подойдя к его койке, комиссия остановилась и члены ее начали его внимательно разглядывать, но, не сказав ничего, перешли к соседней койке, на которой спал Стукан. Там комиссия остановилась, окружила койку и разбудила Стукана. Бурин взглянул

на часы, висевшие у входных дверей, над столиком дневального. Стрелки показывали час. Бурин проснулся. День шел, как всегда, но по мере того, как время подходило к часу, непонятная тревога все больше и больше овладевала Буриным. Вспоминался странный сон. Без четверти час, без десяти час. Бурин рассердился на себя и решил не глядеть больше на часы. Дверь внезапно открылась и в казарму вошел человек в коричневой кожанке с двумя шпалами на красных петлицах.

— Товарищ начальник, — обратился к вошедшему дневальный, — разрешите узнать кто вы?

— Отставить! — буркнул тот и, мимо растерявшегося дневального, прошел в канцелярию.

Бурин, невольно, взглянул на часы. Стрелки показывали час.

Через минуту вызвали в канцелярию Стукана и немного спустя, он, в сопровождении человека в кожанке, вышел оттуда и направился к своей койке. Достал из под нее свой чемодан и раскрыл его. Человек в кожанке перерыл содержимое чемодана и опять увел Стукана в канцелярию. Прошло несколько томительных минут. Из канцелярии вышел Стукан, за ним, с рукой в кармане кожанки, начальник со шпалами на петлицах. Стукан взял свой чемодан и, не глядя на смотрящих на него со страхом товарищей, пошел под конвоем человека в кожанке к выходу.

«Вот, — думал Бурин, — и сон! Почему я видел во сне, часы показывающие час дня? Не мог же я знать, что Стукана арестуют как раз в час? А все-таки, я видел во сне, как стрелки стояли на часе! Странно, но факт. Как это объяснить? Может быть, Стукан думал, что его арестуют, а его мысли передались мне? Ведь мозг, тоже радиостанция. Нет! Откуда Стукан мог знать, что его арестуют, именно, в час дня? Он этого знать не мог! Значит, сверхъестественная сила! И тогда в лагере, когда я слышал «Ревтрибунал», тоже сверхъестественная сила! Может быть эту душа отца? Может быть, он заботится обо мне и теперь? Но почему тогда услышал я, а не Переверзев? Почему теперь

не Стукан, а я видел сон? О них должны заботиться души их родных, а чего они ко мне лезут? Да, что-то не так. Тут что-то другое! Наверное, какой-нибудь работник Особого отдела имеет мозг, радиоизлучения которого такие, как мои и я их принимаю. А как же, с Переверзевым? Вряд ли работник Особого отдела будет перед рассветом думать о том, что Переверзев попадет в Ревтрибунал! Тут, наверное, я принял излучения мозга самого Переверзева. А со Стуканом — ясно! Работник Особого отдела, который приходил его арестовывать, думал, что ему нужно это сделать в час дня, а я, во сне, принял его мысли. А почему я видел во сне, что комиссия и у моей койки задержалась? И это ясно! Потому, что когда решали арестовать Стукана, думали и обо мне. А обо мне они, наверное, часто думают. Такой, как я, «бывший» и в Красной армии? Ну, за мной грехов нет! Что было, то прошло, а я живу в настоящем. Но, кто донес на Стукана? Один Сагайдак отозвался тогда... неужели он Иуда? А может быть и не он! Может быть, другой кто? Ах, как страшно жить под вечной угрозой, что кто-нибудь донесет! А что же, собственно, можно было приписать Стукану? что он ленинские слова сказал? Тогда и Ленина нужно врагом признать! Вот хотят выселить Полтавскую, а разве возможно, чтобы все в станице были кулаками? Кулак, тот кто других крестьян обижает, а если все кулаки, кого же обижать? Самих себя, что ли? Ну, об этом лучше и не думать, а то проговоришься во сне и пропал! Донесет какой нибудь Иуда и конец! А Стукана жалко! Хороший был парень! Почему я думаю «был», он и сейчас есть! А кто знает, может быть и нет его уже. Ведь пропал Сашка, как в воду канул! А вот Стукана забрали и все молчат. Значит тоже боятся! Ни у кого даже смелости не хватит спросить, почему взяли Стукана! Значит, Особый отдел гнетет не только меня, а и их — всех гнетет! А мне от этого не легче, мне нужно, как по канату ходить. Не дай Бог оступишься — пропал!»

На другой день пришел, довольный и веселый, комбат, махнул отрицательно рукой дневальному, хотевшему отдать ему рапорт, и объявил:

— Товарищи, командиры! Собирайте оружие и тащите в склад! В нём больше нет надобности! А потом, — улыбаясь кончил комбат, — бегом на Красную!

«Значит восстания не будет!» — подумал Бурин и почувствовал прилив радости. Ему захотелось говорить и смеяться. Казалось, что все вокруг стало светлее и радостнее. Посмотрел на товарищей и увидел вокруг веселые лица. Все окружили комбата и ждали, что он еще скажет. А комбат, поглядев на повеселевших комвзводов, к всеобщему изумлению сказал:

— Вот только, я не знаю, почему вы так на Красную рветесь. Полный двор комсоставских жен, а вам чужие барышни нужны!

Бурину стало смешно, что комбат, жена которого тоже жила в расположении полка, советует за комсоставскими женами ухаживать и он спросил:

— А как же, товарищ комбат, за комсоставскими женами ухаживать? А мужья-то как?

— Что мужья?! Они тоже маху не дадут! А бабы... пальчики оближете!

— А как же... — начал Бурин и замялся, не зная как спросить о жене самого комбата.

А тот понял что думал Бурин, засмеялся и сказал:

— Моя старая, а другие...

Кругом рассмеялись, рассмеялся и Бурин. Он подумал, что комбат затеял разговор о комсоставских женах, чтобы развеселить всех, поскорее отвлечь всех от мыслей о прошедшем ожидании страшного восстания.

После ухода комбата, Бурин принялся чистить свой пулемет, готовя его к сдаче. Мысли его, то и дело, возвращались к вопросу о выселении населения Полтавской. Он не сомневался, что его сослали, потому что если это было, где-то в партии, решено, трудно было рассчитывать на отмену решения. Из чистивших рядом с Буриным оружие, никто о Полтавской не говорил, будто и не было ее никогда и никого вопрос о выселении ее населения никогда и не тревожил. Вопрос замалчивали, боясь о нем говорить. Эта боязнь пропитывала всех, она была выработана у всех, и у партийных, и у беспартийных, постоянным террором власти.

Подготовив оружие к сдаче, его без всяких команд потащили в склад, сдали и весело разговаривая о предстоящем выходе в город возвратились в казарму. Бурин хотел уже идти гулять, как пришел дежурный по полку и сообщил, что вечером будеть собрание. Известие вызвало всеобщую досаду, но никто этого не высказал, только исчез смех. Ожидая начало собрания, Бурин бродил по казарме, глядел на ставших хмурыми товарищей и думал:

«Они вот, хмурятся, а ругаться никто не смеет! Они не смеют, а мне и подавно ругаться нельзя. Да не то что ругаться, и хмуриться не следует. Нужно радость показывать, что нам что-то сказать хотят! А и особенно радость показывать — тоже не следует, а то подумают, что радость наигранная, неискренняя и, значит, я думаю совсем другое. Нужно найти золотую середину!»

Приняв такое решение, Бурин пошел в Ленинский уголок и занялся игрой в шахматы.

Уже начало темнеть, когда пришел отсекр парторганизации и открыл собрание.

— Товарищи! — начал он. — Партия, под руководством великого Сталина выпестовала Красную армию и вас, командиров. Сейчас партия ждет от вас, как от преданных сынов нашей великой родины, жертвы на благо трудового народа . . .

Из длинной речи отсекра Бурин понял, что на китайской границе не спокойно и армия должна быть готовой ко всяким случайностям.

— Так вот, товарищи! В такой обстановке мы не можем дать другого ответа, как всемерное укрепление нашей боеспособности. Партия ждет от вас, что вы отзоветесь на ее призыв и останетесь в кадрах армии. Я принес бланки заявлений, чтобы те, которые откликнутся на призыв партии могли заполнить и подать их. Кто хочет получить бланки? — закончил отсекр.

«Не взять бланк — нельзя! Скажут, что я не хочу служить родине!» подумал Бурин и первым взял бланк у отсекра. За ним взяли бланки и остальные. Отсекр, довольно улыбаясь, ушел.

На другой день все, кроме Сергея Медведева, подали заявления об оставлении в кадрах. Бурин, смотрел на Медведева и завидовал ему, что он может ехать домой и удивлялся его смелости. Многие, большинство, не хотели оставаться в армии, но смелости открыто заявить об этом ни у кого, кроме Медведева, не хватило.

Вечером Медведева вызвали в штаб. Бурин с нетерпением ожидал его возвращения, представлял себе, как Медведева приняли в штабе, как ему выговаривают, за отказ остаться в кадрах, как грозят ему всеми карами. Когда, наконец, Медведев вернулся, Бурин хотел спросить — зачем его вызывали, но раньше, чем он успел это сделать, Сагайдак с самым невинным видом спросил:

— Зачем тебя, Сергей вызывали?

— Комиссар хотел со мной говорить, — совершенно спокойно ответил Медведев.

— Комиссар? Что же он тебе сказал?

— Что сказал? Сказал, что я сделал ошибку не подав заявление об оставлении в кадре. Сказал, что потом поздно будет — потом я пойму, что близок локоть, да не укусишь!

— А ты? ..

— Я ответил, что, как инженер принесу стране гораздо больше пользы, чем как командир взвода, — так же спокойно ответил Медведев.

Все ожидали, что Медведев получит документы и уедет домой, но прошло несколько дней. а он оставался со всеми. Наконец, его вызвали опять в штаб. Вернулся он злой и на ехидный вопрос Сагайдака: «А зачем тебя, Сергей, сегодня вызывали?» ответил:

— Сообщили о назначении в часть, а когда я сказал, что не подавал заявления «успокоили», что назначение последовало в результате характеристики меня, как волевого командира.

Медведев уехал в часть, а за ним получили назначения еще несколько человек и тоже покинули роту. Прошла еще неделя и из канцелярии полка сообщили, что все оставшиеся без назначения отпускаются в долгосрочный отпуск. Услышав это известие, Бурин сначала не знал — можно ли показать, что он обрадован,

или, выдерживая роль командира стремящегося только к службе в армии, показать огорчение. Взглянул на товарищей и увидел на их лицах радость. Все задвигались, заговорили: о доме, о встрече с родными, о работе по специальности. Заторопились собирать свои вещи, побежали в штаб за документами и билетами. Идя в штаб вместе с несколькими приятелями Бурин встретил комбата. Увидев подумал, что следует скрыть радость, но комбат весело сказал:

— Что, ребятки, по домам? Эх, и хорошо же дома! Желаю вам всяких успехов! А меня лихом не поминайте!

— За что же вас, товарищ комбат, лихом поминать? — сказал Бурин. — Служба есть служба!

— Вот, именно, служба есть служба! А вы отслужили и по домам! Ну, хорошо! До свиданья ребятки!

В штабе тоже никто не ждал от отпускников другого, кроме радости. Казалось, что каждый штабной, тоже хотел домой, но «служба есть служба!»

Бурину не верилось, что он через несколько часов будет дома, увидит мать и он боялся, что вот вот придет опять какой-нибудь начальник и объявит, что нужно остаться. И только придя на вокзал он поверил окончательно, что действительно едет домой. В вагоне прижался лицом к стеклу окна и смотрел, смотрел вперед. За окном была темнота ночи, но Бурину хотелось и в этой темноте издали увидеть милые, знакомые места. Наконец, вдали заблестели огни Тихорецка. Бурину казалось, что каждый огонек мигает ему, зовет его, встречает, здоровается. Замелькали станционные постройки, все такие знакомые и родные. Как только поезд стал, Бурин выскочил из вагона, увидел перрон, по которому часто ходил с отцом, знакомый вокзал из красного кирпича — все такое, будто он оставил его только вчера и все по-новому родное. Воздух, пахнущий дымом паровозов, казался ему особенно приятным, душистым, а когда вышел на привокзальную площадь с кооперативом и баром прозванным «Зеленый змий», за которым раскинулся погруженный в темноту городской сад, ему показалось все необычайно милым; даже и бар, раньше казавшийся противным местом сборища пья-

ниц, показался ему милым. Казалось, что и деревья приветливо кивают ему, и плитки тротуара особенно мягко несут его. Пошел по пустынной улице, споткнулся о камень, торчавший из тротуара лет десять, и не выругался, как делал много раз раньше, а подумал: «И он меня встречает, милый камень!»

Спешил, спешил поскорее увидеть свой двор, а дойдя остановился у калитки, не решаясь войти: ему казалось, что если войдет — проснется от счастливого сна. Постоял, посмотрел во двор, увидел полускрытый тенью ореха стол, за которым всегда пил летом чай и обедал, а за ним спящий дом с полуразвалившимся парадным, решился и вошел. Постучал в дверь и с замирающим сердцем ждал. Услышал шаги и испуганное: «Кто там?»

— Я! — ответил задыхаясь.

Дверь открылась и он увидел в ней мать. Обнял ее, и она показалась ему бесконечно милой, маленькой и слабой.

— Иванчик, ты? — не веря счастью и плача от радости повторяла она.

— Я, мама! . .

Вошел в комнату, тоже необыкновенную, родную и милую, увидел всё — точно вчера ушел из нее и почувствовал, что это не сон, что он в самом деле дома.

— Иванчик, хочешь чаю? Я сейчас разожгу примус.

— Хочу! — ответил он и подумал, что раньше он был глупым, когда сердился на мать за то что она звала его «Иванчик».

Мать слушала рассказ сына о неожиданном отпуске из армии, смотрела на сильного, загорелого военного, в форме которая столько лет вселяла в нее страх, и удивлялась, что этот военный ее сын.

Утром мать вошла в комнату сына, увидела аккуратно сложенную его форму и засмеялась.

— Чего ты, мама, смеешься?

— Я вспомнила, как ты всегда разбрасывал свои вещи, а сейчас . . . сложил, как выглаженные.

За обедом мать, глядя как сын съел без остатка всю тарелку борща, опять рассмеялась и на его вопросительный взгляд ответила:

— Вот ты раньше только жижу одну ел, а теперь съел все и капусту, и бурак.

— О мама, борщ такой вкусный!

Услышал знакомый заводской гудок, возвещающий конец работы, и подумал:

«Нет, туда работать я больше не пойду!»

А мать, словнно угадав его мысль, сказала:

— Теперь тебе уже не нужно на завод идти. Найдешь другую работу, почище.

После обеда Бурин пошел посмотреть Тихорецк. Встретил нескольких знакомых и говоря с ними заметил, что они смотрят на него с примесью страха. Это удивило его.

В Тихорецке все было по-старому, только у магазинов стояли большие очереди за хлебом. Бурин вспомнил, что ему нужно тоже купить хлеб, а в полку ему дали хлебную карточку на две недели. Подошел к очереди и стал. Стоявший перед ним посмотрел на него и сказал:

— Вам, товарищ командир, можно без очереди!

— Ничего, я постою!

— Да нет, товарищ, вы уже, лучше, идите прямо к продавцу, он вам хлеб выдаст, — и обратившись к другим, — правда, граждане?

— Конечно, конечно! — ответил кто-то.

Бурину показалось, что стоящие смотрят на него со страхом и им хочется чтобы он поскорей получил хлеб и ушел. Вышел из очереди, подошел к прилавку и подал продавцу карточку. Тот, так же со страхом, посмотрел на него и торопливо выдал хлеб.

Взяв хлеб, Бурин изумился. В руках у него была какая-то желтовато-серая клейкая масса, похожая больше на мыло, чем на хлеб.

Прошли две недели и хлебные карточки кончились. Новых, не имея работы, получить было нельзя. Бурин пошел на базар, но и там купить было нечего. Побродив по пустому базару, Бурину удалось купить кулечек клюквы.

«Не еда это, — думал Бурин, — на клюкве не проживешь! Нужно что-то делать, искать работу! А где

искать? К кому обратиться? А что, если спросить военкома? может быть он поможет?» — и Бурин пошел в военкомат.

— Здравствуй, здравствуй, товарищ командир! — ответил на приветствие Бурина военком. — Что хочешь сказать?

— Да вот, товарищ военком, карточки кончились. Без них ничего не купишь, а мне, что же, клюкву есть, что ли? — и показал свой кулечек.

— Так, значит, тебе работу нужно? — Пойдешь военруком в школу?

Бурин не знал, что такое военрук, но подумал, что если военком предлагает, значит эту работу можно принять.

— Пойду, товарищ военком!

— Я сейчас напишу тебе направление, ты с ним иди в райисполком, в районо, там тебе все скажут.

В районо Бурину выдали нужные бумаги, сказали, что он назначен военруком района и в его обязанности входит снабжение школ района военным оборудованием, патронами и прочим. Так стал Бурин военруком. Принял военный кабинет с пирамидами, в которых стояли учебные и малокалиберные винтовки с пропущенной через скобы спусковых крючков цепью замкнутой на висячий замок, с противогазами и прочим имуществом и не знал, что делать дальше. Вспомнил, что должен снабжать других военруков военным имуществом и инструктировать их и решил ждать, пока они появятся. Смущало его только, что он не имел ни малейшего представления о том, как и о чем инструктировать, но надеялся что найдет выход. Обойдя школы, в которые он получил назначение и представившись школьному начальству, узнал, что первого числа нужно получить зарплату. Зашел и в педтехникум и там узнал то же самое. Целыми днями сидел в военном кабинете, скучал и только несколько раз выдал приехавшим из района военрукам патроны и прочее, что полагалось по разнарядке. Первого числа опять обошел школы, получил зарплату. Зашел в педтехникум и увидел свою бывшую учительницу, теперь завуча техникума.

— Здравствуйте, Евгения Алексеевна!

— Здравствуйте, товарищ военрук! — холодно и сдержанно ответила она.

Бурина удивила и обидела эта холодность. Он не ждал такой встречи от невидевшей его несколько лет, ранее такой доброй и внимательной, старой учительницы. Она поглядела на смущенного приемом Бурина, улыбнулась и сказала:

— Иван Иванович, а когда же мы можем вас на уроки ждать?

— Уроки?.. какие уроки?

Евгения Алексеевна рассмеялась и стала опять такой, какой ее привык видеть Бурин — ровной и вдумчивой.

— Уроки по военному делу! Вот смотрите, в расписании ваши уроки. Студенты уже месяц ждут. Возьмите программу по военному делу, а завтра приходите.

По дороге домой Бурин думал о том, что, кроме Евгении Алексеевны, никто из школьного начальства ни слова не сказал ему о необходимости давать уроки. Искал причину, но найти не мог.

Первый урок в техникуме запомнился Бурину на всю жизнь. Евгения Алексеевна привела его на третий курс, где за столами сидели совсем взрослые студентки, да два студента.

— Вот вам новый военрук, Иван Иванович, — представила его Евгения Алексеевна, — прошу любить и жаловать!

Евгения Алексеевна ушла и Бурин остался один со своими новыми учениками. Они с любопытством разглядывали Ивана Ивановича и, заметив его смущение, начали улыбаться. Это привело его в полное замешательство. Едва находя слова он начал урок. Для постороннего наблюдателя картина была занятная: у доски, под обстрелом тридцати пар глаз, крепкий, широкоплечий, красивый мужской силой военный, едва владеющий собой и из-за этого похожий на медведя, а против него любопытные, развлекающиеся смущением его, студенты. Бурин видел любопытные взгляды, старался не допустить какой-нибудь оплошности, боялся сделать

себя смешным. От страха ему делалось жарко, черная доска за его спиной казалась ему раскаленной печкой и он даже несколько раз пощупал ее. Несмотря на смущение Бурина, а может быть именно из-за него, он понравился студентам, вернее студенткам, и они старались не смущать его. Бурин это почувствовал и осмелел. Речь его потекла плавно, заитересовала слушателей и, к концу урока, равновесие было установлено.

Давая уроки в других школах, Бурин уже больше не смущался и вскоре привык к своей роли преподавателя. Не раз думал он о причине необычайной любезности к нему начальства школ. Уже то, что он первый месяц совсем не давал уроков, а его не только не упрекнули, но вежливо, как будто так и должно было быть, уплатили зарплату, было очень странно. Его за неявку на уроки не упрекнули, а другие учителя получали взыскания за самые незначительные упущения.

Причину такого поведения своих начальников Бурин понял только много позже.

ГЛАВА XI

Однажды Бурина вызвали в райисполком. Придя он встретился с десятком других командиров запаса. Ожидали председателя исполкома, толковали о причинах вызова, предполагали, что для них будет какое-то особое задание. Наконец вошел председатель, поздоровался и начал:

— Товарищи командиры! Вы знаете, что недобитые остатки кулачества пытаются всеми средствами сорвать планы строительства новой социалистической деревни. Они, озлобленные нашими успехами, не останавливаются ни перед чем. Сейчас они пытаются организовать саботаж подготовки к севу. Несознательные крестьяне попадают под их пропаганду и, сами не зная этого, играют на руку своему злейшему врагу. Нужно пресечь вражескую деятельность, а поэтому, товарищи, мы решили обратиться к вам . . .

Постепенно, из длинной и путанной речи председателя, Бурин понял, что собранные командиры должны будут ехать в соседние станицы, по одному на станицу, и по законам военного времени командовать там борьбой с саботажем. Официально кампания называлась «борьбой с мышами и сорняками».

— Вам, товарищи командиры, — закончил председатель, — будут подчинены все военнообязанные ваших станиц, включая и партийное руководство. Только, смотрите, не наломайте дров!

Придя на вокзал Бурин увидел обычную картину: у билетных касс стояли бесконечные очереди, на скамьях, на полу и даже в проходах сидели и лежали, неделями ожидавшие удачи получить билет, люди. Пахло чем-то кислым, смесью человеческого пота, грязи и сохнувших тут же портянок и пеленок. Стараясь не дышать через нос, Бурин прошел мимо длинной очереди к окошечку кассы, предъявил свое командировочное удостоверение, немедленно получил билет и, сопровождаемый уныло-завистливыми взглядами людей из очереди, прошел на перрон к поезду. Ехать нужно было недалеко, всего километров двадцать. «Вот как трудно! вот как труд-но!» отстукивали колеса вагонов и Бурин думал, что иногда бывает действительно трудно. Вот сейчас он ехал бороться . . . С кем бороться? С такими же крестьянами, каких он только что видел на вокзале и какие сейчас в вагоне со страхом поглядывают на него, теснясь со своими мешками на лавках. Бороться с голодными людьми, которым не до «побед социализма», а нужно, спасая свои жизни, валяться неделями по вокзалам, пробираться в «хлебные края», чтобы добыть для семьи мешок съестного и везти его домой, рискуя по дороге попасть в облаву и вернуться к голодной семье с пустыми руками. Но отказаться от этой борьбы Бурин не мог. Власть мяла его волю.

Выйдя на станции, Бурин пошел в стансовет. Хотел получить подводу, чтобы доехать до своей станицы. Твердо чеканя шаг Бурин прошел через холодный пустой зал к двери с табличкой: «Председатель стансовета», открыл ее и увидел сидевшего за столом важного

всей своей фигурой человека, при скрипе двери еще более углубившегося в чтение каких-то бумаг. У стола Бурин остановился и, видя что председатель «не замечает» его, сказал:

— Товарищ председатель!

Важный человек поднял голову, взглянул и, вдруг, стал совсем не важным, сжался и выразил всей своей фигурой внимание и послушность.

— Товарищ председатель! — повторил изумленный переменой произошедшей с председателем, Бурин. — Мне нужна подвода с подводчиком и два килограмма хлеба.

— Сейчас, товарищ, я позвоню в колхоз, чтобы прислали подводу, а потом выпишу вам записку на хлеб.

«Как начальство в школах, — подумал Бурин. — Что у меня, рога, что ли, что они меня, как чорта, боятся?»

Получив записку и дождавшись подводы Бурин поехал в колхоз. Голодная лошадь еле двигалась, подводчик угрюмо покрикивал на нее, исполняя досадную обязанность. Подъехав к складу колхоза, Бурин велел подводчику ждать, а сам пошел получать хлеб. Опять, как и в стансовете, ему выдали требуемое даже не спрашивая записки и, показалось Бурину, обрадовались, когда он, протянув им записку и взяв что-то черно-коричневое и скользко-клейкое называвшееся хлебом, пошел к выходу. Забравшись на подводу Бурин подумал, что неудивительно если лошадь едва тянет ноги, а подводчик мучеником выглядит — на таком хлебе не растолстеешь.

— Слушай, товарищ! — сказал он подводчику. — У вас все такой хлеб получают?

— Да мы и его не получаем. Это для колхозной столовой.

— А как же вы, — начал было Бурин и перебил сам себя, — а как в других колхозах?

— В других — тоже! — и вспомнив, с раздражением добавил. — Только в партизанском хорошо.

— А где этот, «партизанский»?

Подводчик назвал станицу и Бурин обрадовался, услышав что колхоз в «его» станице.

— Вези меня туда!

— Лошадь не дойдет!

— Дойдет, вези!

Лошадь, действительно, едва дошла. Половину дороги Бурину пришлось идти пешком, наконец добрались до «партизанского» стансовета. Отпустив подводчика, невероятно обрадованного подаренным ему Буриным глинообразным хлебом, он вошел в стансовет. Его встретили как своего, дали направление на квартиру и сказали, что он будет там же и столоваться. Добравшись до указанной ему хаты, Бурин постучал и вошел. В большой комнате приятно пахло борщем, — хозяева обедали. Увидев вошедшего и узнав зачем он пришел, они усадили и его за стол. Бурин думал, что он попал в другой мир: после вкусного, заправленного сметаной, борща, на столе появилась сковорода с жареным гусем и все это с хорошим белым хлебом. Позже Бурин узнал, что колхоз состоял из красных партизан времен гражданской войны и получал пособие от государства, но в станице были и другие колхозы, поддержки не получавшие.

На другой день, в комнате где жил Бурин, появился еще один постоялец — тоже командированный, но гражданский человек. Только сзади, под пиджаком, у него что-то торчало и Бурин подумал, что тот носит под пиджаком револьвер.

В первый же день Бурин получил в колхозе хорошую тачанку с парой сытых лошадей, собрал начальство — стансоветское и колхозное и повез их в поле. Объехав район станицы он набросал себе план его и отметил места засорения. Начальству же объяснил просто: «Вот вам план, вот места которые нужно вычистить. Как вы это будете делать, меня не касается. Ежедневно рапортуйте мне какие квадраты вычищены». Начальство, испуганное «чрезвычайными полномочиями» Бурина, действовало. Бурину оставалось только ждать рапорты, отмечать на плане сделанное, да стараться не думать, какими мерами воздействует на крестьян начальство.

Идя по станичной площади, Бурин услышал: «Ванюшка! Ванюшка!». Огляделся, увидел высунувшегося

из окна старого знакомого по заводу, слесаря Кильдешова и вспомнил, что того отправили двадцатипятитысячником в колхоз.

— Ты что тут делаешь?

— По борьбе с мышами и сорняками, а ты?

— Секретарем парторганизации.

Кильдешов был рад увидеть товарища по заводу, Бурин — тоже. Поговорили о прошлом, вспомнили общих знакомых и Кильдешов, словно вспомнив что-то неприятное, сказал:

— Вот, Ванюшка, а я и не знал, что «уполномоченный» это ты. Был в отъезде, вчера приехал, узнал что «уполномоченный» тут, а сегодня пришла эта стерва и говорит, что я должен «уполномоченного» попросить... так это ехидно «попросить», отчитаться в проделанной работе на собрании парторганизации.

— Какая стерва? Почему приказывает тебе звать меня для отчета? Я, ведь, беспартийный!

— Придешь, узнаешь! Он сам тоже будет, увидишь.

— А в котором часу собрание?

— Начнем в восемь, а ты приходи к десяти.

Когда Бурин пришел, в комнате полной махорочного дыма было человек двадцать. За столом восседало бюро с Кильдешовым в середине, а в стороне, отдельно от всех, гражданский коллега Бурина по комнате. Очередные вопросы были уже окончены и Бурин мог сразу начать. Достал свой план, поглядел на присутствующих, и сказал:

— Товарищи! По просьбе товарища Кильдешова я ставлю вас в известность о ходе работ по борьбе с мышами и сорняками.

Глядя на свой план рассказал, где и что нужно было сделать. Поглядел на «гражданского» и заметил на его лице злорадное ожидание.

«Он думает, что раз я целыми днями был дома, значит ничего и не сделал. Ишь, как злорадствует!» — подумал Бурин.

Начал говорить о сделанной работе. По мере того, как становилось ясно, что в основном все сделано, с лица Кильдешова исчезало напряжение, а «гражданский» едва скрывал разочарование.

Бурин кончил. Резолюции по его выступлению не выносили, так как оно не было официальным и Кильдешов объявил собрание закрытым. Оставшись один с Буриным, он сказал:

— Ну, слава Богу, все в порядке! А этот хотел тебя поймать.

— Кто «этот»?

— Кто? кто? . . .уполномоченный!

Бурин понял, о ком говорил Кильдешов. Ясно, что «гражданский» был на самом деле уполномоченным ГПУ, а, значит, и спрашивать больше не следует. Стало досадно, что верил в действительность своих «полномочий» и в свою самостоятельность, тогда как вслед ему послали действительно страшного уполномоченного, — наблюдать и шпионить. Вспомнил и про шишку под пиджаком и не сомневался, что это была кобура с револьвером.

На другой день Бурин решил уехать. Случайно в станицу заехал легковой автомобиль без пассажиров и Бурин, показав шоферу свои «полномочия», велел везти себя на станцию. Уже смеркалось, когда выехали. Старенький «Форд» чихал и кряхтел, подпрыгивая на кочковатой заснеженной дороге.

— Радиатор кипит, — сказал шофер, — прохудился, вода вытекает. Прийдется по пути в станицу заехать, воды набрать.

Заехали в станицу. Подъехали к стансовету, где был колодец. На площади колыхалась толпа, — только женщины. Полосы света фонарей автомобиля врезались в нее и толпа расступилась образовав коридор до дверей стансовета. Машина стала и Бурин вышел из нее.

— Вот он! вот он! — вдруг истерично закричала женщина. Толпа колыхнулась и все повернулись к Бурину. Искаженные злобой женские лица глядели на него. Бурину стало страшно. Показалось, что вот вот все бросятся на него и он, быстро, почти бегом кинулся через еще оставшийся коридор к дверям стансовета. Вскочил в двери и с облегчением захлопнул их за собой. Увидел, что весь коридор стансовета наполнен людьми в штатском с винтовками.

— Что тут у вас делается? — спросил он ближайшего.

— Саботажников забираем!

Комнаты стансовета были набиты арестованными станичниками, а за его стенами ждала и и не решалась ни на что толпа их жен, сестер и матерей.

«Да, — подумал Бурин, — они тут людей арестовывают, а меня бабы и пришибить могли! Чорт его знает, за кого они меня приняли? Просто беда! А как, теперь, идти к автомобилю? С бабами шутить сейчас нельзя»!»

Вошел шофер, Бурин почувствовал облегчение и спросил:

— Ну, как?

— Ничего! Я наберу воды и буду за двором ждать.

Выйдя через задние двери в пустой двор, Бурин залез в машину и шофер дал газ.

— Слава Богу, уехали! — с облегчением сказал он.

*

Настало лето. Бурина вызвали в райсовет осоавиахима. Председатель райсовета, после обычного вступления о необходимости защищать завоевания социализма, сообщил Бурину о назначении его командиром батальона осоавиахима, предназначенного для прополки полей в совхозе.

— Знаете, товарищ, — сказал он, — нужно боевую подготовку совместить с нужной стране работой. Сами знаете, вражеский саботаж и все такое. А кукурузу прополоть нужно. Вот и действуйте!

Так Бурин очутился в зерносовхозе с «батальоном» осоавиахима, состоящим из двухсот женщин осоавиахимок, да невесть каким путем попавшим в их компанию стариком. С первого же дня Бурин понял, что о боевой подготовке и речи быть не может. Нужно было полоть кукурузу заросшую колючей травой, осотом. Эту траву нельзя было срезать, так как срезанный стебель давал бы несколько отростков, а нужно было выдергивать из земли с корнем. От этой работы, руки

женщин вскоре покрылись ранами и кровоточили. Одно было утешение, что «батальон» должен был работать в совхозе только две недели. Но к концу этих двух недель приехал некто в штатском, назвавшийся представителем зернотреста, и сообщил Бурину, что «батальон» должен продолжать работу, пока не будет вычищен весь участок.

«Опять уполномоченный», — подумал Бурин с досадой, — нигде от них не спрячешься!

— Да . . . Еще оставаться, а как же с продовольствием? У меня был запас только на две недели.

— А вы, товарищ, езжайте завтра в отделение совхоза и потребуйте продукты, а я, тем временем, собрание проведу и объясню все.

— Ладно, поеду!

В конторе отделения Бурину услужливо выписали потребованные им продукты и он, глядя на служащих отделения, думал, что и тут с ним обращаются так, будто боятся о него обжечься. Получив нужные накладные и талон на обед в совхозной столовой, Бурин пошел обедать. По дороге раздумывал о причине того, что его все боятся и не мог найти ее. Дав по-деревенски красивой подавальщице свой талон, он смотрел на крепкие икры женщины идущей к окошку кухни. Подойдя к окну и сунув в него талон, подавальщица сказала:

— Дай тому гепеу обед!

«Какому «гепеу»? Ведь она мой талон подала?» — подумал Бурин, поглядел по сторонам, но в столовой, кроме него, никого не было. И тут только понял он, почему его все боятся — его принимают за работника ГПУ. «У нас петлицы малиновые, а у них — пунцовые, — подумал он, — штатские этой разницы не знают. А до чего же все боятся!»

Пообедав Бурин получил в кладовой продукты и думал о необходимости идти в отделение совхоза и просить транспорт, когда увидел едущий к кладовой грузовик. Выскочил на дорогу, поднял руку и грузовик послушно остановился.

— Товарищ шофер, возьмите из кладовой продукты и отвезите на прополку!

— Мне, товарищ командир, нужно в другую сторону ехать.

— Не важно, делайте то, что я сказал! — ожидая обычного и теперь ставшего ему понятным результата своего приказания, сказал Бурин.

Шофер повез продукты.

Подъехав к «батальону» Бурин услышал многоголосый крик и увидел, окружившую возвышавшегося над ней представителя, толпу.

«Осот! осот!» визгливо кричали женщины и в представителя полетели комья земли. Уворачиваясь от них, представитель пытался перекричать женщин и размахивал руками.

«Скверно! — подумал Бурин, пробираясь через толпу к представителю. — Ухлопают его, а мне отвечать!»

Влезши на бочку и став рядом с представителем, Бурин в первый момент не знал что предпринять, но выручила пришедшая от ярости в экстаз женщина, закричавшая, протягивая к представителю окровавленные руки:

— Смотри, проклятый Осот! Вот наша кровь льется! а ты, проклятый Осот, еще уговариваешь!

Решение пришло внезапно. Бурин быстро раскрыл свою полевую сумку, достал перевязочный пакет, схватил окровавленную, исколотую колючками руку женщины и начал ее перевязывать. Неожиданность его поступка поразила стоявших вблизи, они замолчали, а за ними, на мгновение, стихла и толпа.

И это мгновение использовал Бурин, громко сказав:

— Товарищи женщины! У кого руки изранены, подходите, я перевяжу!

Перевязочный пакет был один и забинтовать более пары рук было невозможно, но рассчет Бурина оказался правильным: внимание толпы было отвлечено от «Осота» и напряжение ослабело.

— Что руки? — прокричал кто-то. — Две недели в поле, и погулять не с кем!

— Товарищи женщины, вон там лесок, — указал рукой Бурин, и с облегчением увидел что многие головы повернулись к леску, — составьте список и я буду, по очереди, ходить с вами туда гулять.

Кто-то засмеялся, еще кто-то и толпа разразилась смехом.

— Ты, — шепнул Бурин представителю, — смывайся в палатку, пока можно.

Представитель уехал, пообещав дать Бурину самую лучшую характеристику, а «батальон» был переведен в другое отделение совхоза. Вскоре появились больные и Бурин вызвал из района медсестру. Поля, где нужно было полоть кукурузу, были возле самого отделения и «батальон» расположился в его амбарах. Бурину дали отдельную комнату.

В обеденный перерыв к Бурину пришла медсестра и взволнованно сказала:

—Иван Иванович, знаете, что находится в отдельно стоящем амбаре?

— Нет! А что?

— А вот, пойдем!

Подошли к закрытым на вертушку дверям массивного серого амбара.

— Смотрите! — сказала медсестра и распахнула дверь.

Прямо у двери сидел на скамейке человек с желтым, опухшим, будто налитым водой лицом покрытым давно не бритой бородой, а за ним Бурин увидел двух лежащих на полу. Они лежали в странных позах, словно в тяжелом сне. Человек у двери, ослепленный светом совсем закрыл, и без того полуприкрытые опухолью глаза. «Как Будда!» — подумал Бурин и спросил:

— Что вы тут делаете?

— Да вот, заболели, — открыв глаза и глядя через узкие щелочки их, безразлично ответил тот, — а завхоз приказал не давать нам обед и сюда запер.

— Так, вам же нужно в больницу! ..

— Мне, может быть? А тем уже больница не поможет! — едва слышно ответил человек.

Бурин посмотрел на лежащих и почувствовал, как страх охватывает его. Люди не могли так спать. Вошел в амбар и тронул лежавшего. Он был твердый, закостеневший. Отдернул руку, взглянул на другого и понял, что и тот мертв. А человек у двери сидел не меняя позы.

— Помогите живому! — тихо сказал Бурин медсестре и вышел во двор.

«Немыслимо! Так издеваться над людьми!?.. Так может делать только зверь!» — подумал Бурин и, вдруг, ярость охватила его. Ему захотелось схватить завхоза посадившего людей в амбар, избить его, наказать за бесчеловечность. Бросился к конторе. На полдороге столкнулся с зовхозом и не говоря ни слова кинулся на него, ударил, увидел искаженное страхом лицо дернувшееся в сторону, хотел ударить еще, бить, бить и бить, но завхоз бросился бежать. Вспышка ярости уступила место презрению и Бурин не погнался. Увидел едущий грузовик, остановил его и приказал вести себя в район.

Приехав, он взбудоражил райком осоавиахима. С председателем пошел в райком партии. Там их принял второй секретарь, выслушал и засуетился.

— Немыслимо! Нужно создать комиссию и расследовать дело. Я сейчас позвоню!

Через час в зерносовхоз выехала колона автомобилей — представители райкома партии, райисполкома, райздравотдела и осоавиахима. Бурин сидел в машине рядом с председателем осоавиахима и радовался, что преступление завхоза не останется безнаказанным. В отделении Бурин повел комиссию в амбар, где еще лежали мертвые. Комиссия опросила оставшегося в живых, работников отделения и представитель райкома партии, поблагодарив Бурина за бдительность и заверив его что виновные будут строго наказаны, уехал с комиссией.

ГЛАВА XII

Однажды Бурину захотелось побывать в станице, где он учился последний год. Теперь у него был велосипед и не нужно было, как раньше, маршировать семь километров. Ехал по пыльной дороге, смотрел на вертящуюся шину, рассекающую серую пыль и думал, что вряд ли застанет Козлова дома, он наверное в поле. Подъехал к станице, проехал первую улицу и выехал на площадь. Вот церковь, в которой был клуб, там, в дальнем углу, школа, а справа должен быть дом Козлова. Вот и дорожка ведшая к нему, но дома нет. Не веря себе Бурин остановился и пошел, ведя велосипед, по дорожке. Дорожка привела к пустому месту. Дома не было. Бурин вошел во двор, прошел к колодцу-бассейну, бывшему рядом с домом, но дома . . . дома не было. Бурин стоял и смотрел, ничего не понимая. Вот место где был порожек, оно не заросло травой, там стоял амбар, а теперь только сор остался . . . дома не было. Наконец, Бурин понял: дом снесли и искать нечего. Спрашивать не захотел, знал что Козлов, по своей воле, никогда не уничтожил бы свой двор, значит, Козлова сослали. У Бурина пропала охота осматривать станицу и он поехал домой.

Ехал и думал, что не мог Козлов кулаком быть. Он сам работал от зари до зари, работал, как вол, настойчиво и упорно. И прав был Стукан, сказавший, что, по словам Ленина, в России только три процента кулаков. Но и Стукана арестовали, значит, правду говорить нельзя, а неправда властвует. Неправда и Козлова съела. Неправда у власти. И подумав это испугался, словно кто-нибудь мог улышать его мысли.

Бурин сидел на скамье под орехом и читал, когда кто-то окликнул его. У калитки стоял какой-то человек, показавшийся Бурину знакомым, но узнать сразу он не мог. Только подойдя и открыв калитку узнал: у калитки стоял Андрианов. Он тоже не сразу узнал Бурина, которого видел в последний раз мальчиком, посмотрел, улыбнулся и сказал:

— Иванчик?

— Да, я!

— Здравствуй, здравствуй! Ох, как же ты вырос!

— Здравствуйте, — ответил Бурин и улыбнулся, подумав, что Андрианов, наверное, ожидал встретить мальчика, а не взрослого военного, — заходите!

На крыльцо вышла мать, увидела идущего к ней Андрианова и, узнав его, обрадованно засмеялась и вскрикнула:

— А! Здравствуйте! Какими судьбами? Как я рада вас видеть!

— Здравствуйте, Наталья Павловна! — сказал целуя руку Андрианов. — Вот выбрал время и заехал на вас посмотреть, да былое вспомнить.

Бурину показалось странным, что коммунист Андрианов, совсем по старорежимному целует матери руку, а когда слушал разговор матери с ним, думал, что странно двоится человек. Вот Андрианов, сейчас, ведет себя совсем не так, как полагается коммунисту, говорит о прошлом так, будто сожалеет о нем, а на службе это прошлое официально проклинает.

— Иванчик, — сказал Андрианов, — я тебе подарок отцовский привез.

— Какой отцовский подарок? — недоуменно сказал Бурин.

— А ружье, что папа для тебя купил. Я его тогда увез, чтобы не забрали, а теперь обратно привез. Пойдем на вокзал, отдам тебе. Будет тебе отцовская память.

Бурин обрадовался и ему захотелось поскорей идти на вокзал и взять ружье. А Андрианов говорил, говорил с матерью и, казалось, не было конца разговору.

На станции Андрианов передал Бурину желтый кожаный футляр с ружьем и Бурин, придя домой, с восторгом вынул и собрал дорогое ружье, сохраненное Андриановым так, будто оно только что выпущено с фабрики. Наглядевшись на ружье Бурин стал собираться на охоту. Ему нетерпелось испробовать его. Собрался и пошел на Козловую балку. Уток не было и Бурин шел все дальше и дальше, пока не увидел, новое для него поселение, расположенное как раз там, где он, когда-то, стрелял в утку на круглом плесу. Досадуя, что поселе-

ние отняло у него лучшее для охоты место на балке, Бурин вошел в единственную улицу поселка и не поверил своим глазам: прямо перед собой он увидел дом Козлова. Подумал, что ошибся и принял какой-нибудь новый дом, за него, подошел близко, посмотрел, нет, — это дом Козлова. И порожек, и ставни, да и стены знакомы ему. Сомнения не осталось. Но как мог дом очутится на расстоянии добрых пятнадцати километров от станицы, здесь, на балке? Может быть Козлов перебрался сюда? Но что могло его заставить покинуть насиженное место? Как он перевез сюда дом? На эти вопросы Бурин не мог найти ответ. Решил постучать, надеясь увидеть кого-нибудь из Козловых и узнать все. На стук вышла растрепанная, женщина и недовольно сказала:

— Чего нужно?

Бурин, думая что это работница Козлова, спросил:

— Где Козлов?

— Какой Козлов? Нету тут никакого Козлова!

— Как нету? А где же он?

— Да почем я знаю?

— А что это за поселок?

— Это Красная коммуна! А что?

— Да я тут его раньше не видел. Когда его построили?

— Да его, вовсе и не строили! Просто перевезли на тракторах.

— Откуда перевезли?

— А кто его знает, откуда! Перевезли и все!

— А как же с теми, кто в домах раньше жил?

— Откуда я знаю, что с теми? Мы в пустые дома вселились.

Спрашивать больше было нечего, и так все было ясно, и Бурин пошел домой.

Мысли о Козлове, без вины сосланном, о тысячах других крестьян, работавших как он и тоже сосланных, не оставляли Бурина. Чтобы отвлечься он решил идти гулять. Возле городского сада встретил знакомого с двумя барышнями, которых увидел впервые. Одна из них поразила Бурина своей красотой и он захотел с ней, во что бы то ни стало, познакомится.

— Здравствуйте, Александр Александрович!

— Здравствуйте, Иван Иванович! — ответил знакомый, явно не намереваясь знакомить его и попытался идти дальше.

— Гуляете?

— Гуляем!

Бурину стало досадно, что он так нелепо спросил, но уйти он не хотел. Посмотрел на изящно одетого Александра Александровича, и решительно сказал:

— Что же вы меня не представите? Так, не познакомившись, и говорить неудобно!

Видя, что от Бурина не избавишься, Александр Александрович представил его барышням.

Понравившаяся Бурину барышня, равнодушно протянула ему руку, сказала:

— Вера. Очень приятно! — и тотчас же занялась флиртом с Александром Александровичем.

«Конечно, куда мне до него? — подумал Бурин. — Ишь шляпа фетровая, костюм с иголочки, лицо ангельское, ноги тоненькие, загладку брюк не портят, а я? Солдат и только!»

Голос Александра Александровича был мягкий, вкрадчивый, говорил он бойко и увлекательно, а Бурин стеснялся и не мог найти интересную тему. Чем дольше шел он рядом с Верой, тем неповоротливее становился, знал это и сердился на себя. А Вера смеялась, слушая остроты Александра Александровича и не обращала на Бурина внимания. Он совсем захмурел, рассердился и, отговорясь срочной работой, простился и ушел. Уйдя досадывал на себя за это, думал о том, как Вера сейчас развлекается с Александром Александровичем и ревновал.

На другой день, надеясь встретить Веру, опять пошел гулять, ходил возле городского сада, как часовой, взад и вперед, но Веру не встретил. Ругал себя, что не узнал ее адрес. Так ждал он Веру пять дней. На шестой, решил, что это в последний раз и, если не встретит ее сегодня, больше искать не будет. И вдруг увидел ее. Она шла одна, с книгой в руке. Бурин и обрадовался, и испугался, что не сможет как следует подойти к ней,

а, когда поравнялся с ней, неожиданно для себя спокойно сказал:

— Здравствуйте, Вера! Куда это вы с книгой?

— Здравствуйте, Иван Иванович! Не куда, а откуда! — и Вера засмеялась.

— Откуда? Ну хорошо, откуда вы с книгой?

— Из библиотеки. Вот жду подругу.

«Вот тебе и встретил ее одну! — подумал Бурин. — Говорит, ждет подругу, а, наверное, Александра Александровича ждет!»

Пошел рядом с ней, смотрел на нее и радовался. Подумал, что нужно о чем-то говорить, иначе она подумает, что он совсем дурак, стал искать тему, но тут подошла подруга.

— Вот и Женя! — сказала Ве́ра. — Вы, кажется, с ней знакомы?

— Знаком, — ответил Бурин увидев девушку бывшую с Верой при их знакомстве.

Женя поздоровалась и сказала Вере:

— Александр Александрович сегодня не придет. У него важное заседание, придется без него в кино идти.

— В кино? — обрадовался теме Бурин. — Сегодня интересная картина. Можно мне с вами?

— Конечно! — ответила Женя. — Втроем веселей будет. Правда Вера?

Пошли в кино. Уже темнело, но кассы еще не открыли, хотя возле нее уже стояло много народа. Бурин вынул из грудного кармана гимнастерки оставшиеся ему после отца железнодорожные часы, посмотрел и сказал:

— Через пять минут кассу откроют. Я сейчас займу место в очереди. Хорошо?

— Конечно, идите! — ответила Вера. — Мы вас тут ждать будем.

Бурин занял очередь, смотрел на ожидавшую Веру и думал:

«Ах, какая она красивая! И лицо, и фигура — все красивое!»

Окошечко кассы открылось, ожидавшие придвинулись к нему и внезапно возле Бурина оказалось нес-

колько парней сдавивших его. Особенно напирал один, рыжий и веснущатый.

— Да не давите так! — сказал Бурин. — Всем билетов хватит.

И, словно послушавшись, парни перестали его теснить, а когда он взял билеты, у окошечка никого из них не было.

«Вот, толкались, толкались, а когда дошли до кассы, им и билетов не нужно!» — подумал Бурин и пошел к барышням.

— Вот, купил билеты. Теперь, пока кино откроется, можно немного в саду погулять.

— А который час? — спросила Вера. — Кино в восемь начинается.

Бурин хотел посмотреть на часы, и не нашел их в кармане. Не понимая, стал рыться в нем, но часов не было. Тут только понял он, почему так толкал его рыжий. Стало досадно, но виду не подал.

— Не знаю, часов нет!

Женя заохала, Вера посоветовала искать воров, но Бурин, не надеясь их найти, сказал, что часы старые и он не жалеет о них.

Картина не интересовала Бурина, он чувствовал близость Веры, смотрел на нее и был в восторге. Когда кино кончилось, ему не хотелось уходить.

В саду играл оркестр и девушки остались погулять и послушать музыку. Бурин ходил с ними, то возле Веры, то возле Жени. Такая смена происходила каждый раз в конце дорожки: девушки оборачивались, а он оставался на своей стороне, не желая обижать Женю. Оркестр кончил играть и все направились к выходу. Бурин спросил разрешения проводить девушек, получил его, и радостный пошел рядом с Верой. Досадовал только, что и Женя была тут. К его удовольствию оказалось, что она жила близко от сада. Дойдя до дома, Женя попрощалась и Бурин остался один с Верой. Вера жила почти на окраине. Шли долго и это радовало Бурина, а когда дошли, он испугался, что придется расстаться.

— Вот я и дома!

— А у вас хорошо! — сказал Бурин, стараясь оттянуть решающее «до свиданья!» — Зелень кругом . . .

В этот момент, в двух шагах от них, кто-то перепрыгнул через забор и надвинулся на Бурина.

— Ты тут, — начал подозрительного вида парень, — тут . . .

Бурин не дал ему кончить, схватил за руки выше локтей, сжал их, как в тисках, и жестко сказал:

— Убирайся, пока цел!

Парень обомлел от такой встречи и растерянно промямлил:

— Пу-сти! . .

Бурин повернул его, подтолкнул и сказал:

— Иди!

Парень, бормоча какие-то угрозы, ушел.

— Ох, мне нужно идти! — сама не своя от страха сказала Вера.

— Чего вы так спешите? — испуганный тем, что она сейчас уйдет, спросил Бурин.

— Как чего? Разве вы не знаете, кто это был?

— Ах, этот! — сказал Бурин, думая что речь идет о каком-то ревнивце. — Этот — не страшный парень.

— Не страш-ный? Нет, я уж лучше пойду!

Бурин постоял еще с минуту и вспомнил, что не спросил Веру, где и когда он сможет опять увидеть ее. Досадуя пошел домой. Увидел блестящие отраженным светом луны окна большого одноэтажного дома и подумал: «здесь живет секретарь райкома».

Вдруг, услышал звон разбиваемого стекла и увидел, что вместо блестящего окна, с которым он только что поравнялся, стала черная дыра. В это время из окна блеснуло. Бурин услышал свист и, одновременно, выстрел. Не раздумывая повалился на землю и покатился к забору. Из окна опять блеснуло и пуля ударила в землю так близко, что в его лицо полетели комья. Докатился до забора, подумал, что стрелок теперь не видит его, вскочил и кинулся бежать. Из окна трещали выстрелы, а из досок забора летели щепки. Добежал до перекрестной улицы, свернул в нее и пошел шагом.

«Вот чорт! Палит из окна, не разбирая в кого! — подумал Бурин. — А попал бы, попробуй, докажи, что не я окна бил!»

На следующий вечер опять встретил Веру с Женей в городском саду. Ему показалось, что Вера обрадовалась его приходу и это привело его в восторженное настроение. Все казалось ему прекрасным и он не чувствовал больше стеснения. Говорил легко и свободно и замечал, что Вера внимательно слушает его. Когда оркестр кончил играть, пошел провожать барышень, не спрашивая их согласия. Когда дошли до дома Жени и она ушла, взял Веру под руку, не спрашивая разрешения, и она не возразила.

Прошли несколько кварталов и Вера, неожиданно, сказала:

— Иван Иванович, не ходите провожать меня!

— Почему? — испугался он.

— Да, тот, что вы прогнали...

— Ну что ж, что прогнал? Прогнал и конец!

— А я боюсь, что не конец, ведь он, бандит!

— Бандит? — не придавая значения словам Веры, сказал Бурин. — Идемте! Я никаких бандитов не боюсь!

У калитки Вера остановилась, а Бурин, боясь что она уйдет, предложил:

— Давайте сядем, вот тут, на скамейке! Погода такая чудная!

— Да, уже поздно! Мне надо домой!

— Ах, дом не убежит! Пойдемте!

Бурин подвел Веру к прибитой к забору скамейке. Вера села и посмотрела на него покорным и ожидающим взглядом. Он сел рядом, придвинулся вплотную и, неожиданно для самого себя, обнял Веру и поцеловал.

— Не надо! — вяло сказала Вера и замолчала, задушенная новым поцелуем.

Долго сидели обнявшись. Целуя он видел ее покорные глаза, чувствовал отвечающие губы. Когда уходил, спросил:

— Завтра в саду будешь?

— Буду! — и лукаво улыбнулась.

Идя домой, мечтал, что женится на Вере и не заметил во время стоявшую на дороге группу, человек десять, а когда увидел — было уже поздно.

Впереди ждущих узнал того, кого прогнал при первом свидании с Верой.

«Вот теперь мне плохо будет! — подумал он и, видя, что избежать встречи все-равно не удастся, решил. — Пойду прямо на них. Смелость города берет!»

И пошел, особенно твердо отбивая шаг.

Стоявшие вдруг расступились, образовав коридор, Бурин прошел между ними и услышал:

— Подожди, мы тебя поймаем, когда не будешь наганом хрустеть!

Не оглядываясь пошел дальше, а когда уже отошел несколько шагов, почувствовал, что судорожно сжимает в кармане связку ключей и услышал как они хрустнули, будто прокручиваемый барабан револьвера.

Лежа в постели, Бурин думал: «Какая она красивая и как любит! Просто не верится! И как странно, — пока боялся прикоснуться, неприступной казалась, а обнял и . . . моя!»

На следующий вечер Бурин ждал Веру у входа в сад. Увидел, поспешил навстречу. Вера радостно встретила его взглядом лучистых глаз и, когда он взял ее под руку, прижалась к нему. Походили по саду и, не дожидаясь когда кончит играть оркестр, ушли. Счастливые шли, торопясь к своей скамейке. Вдруг из темного закоулка вышли несколько человек и пошли к ним. Подойдя вплотную, передний вызывающе сказал:

— Дай закурить!

«Это для начала «дай закурить!», а потом — раздевайся!» — подумал Бурин, почувствовав как Вера в испуге прижалась к нему, и понял, что даст, или не даст он бандиту закурить, от этого ничего не изменится. Хотел отказать, как вдруг, из закоулка кто-то громко сказал:

— Пропусти, это свой!

Требовавший закурить, отодвинулся и Бурин прошел мимо него. Когда отошли несколько шагов, Вера высвободила свою руку и молча шла рядом.

«Ишь, как испугалась!» — подумал Бурин. — Идет, как в воду опущенная».

Подойдя к калитке, Вера внезапно открыла ее, проскочила во двор, захлопнула и закрыла на засов калитку, сказала: — Я со «своими» не гуляю! — и ушла.

Бурин растерялся и даже не окликнул ее. Постояв, не понимая что случилось, и видя, что Вера не возвращается, раздосадованный побрел домой. Только дома сообразил, почему Вера ушла от него: этот, из закоулка, сказал — «пропусти, это свой!», «свой» — значит бандит.

Несколько дней Бурин старался встретиться с Верой, хотел объяснить ей несуразность ее подозрения, но она, увидев его, демонстративно уходила и, в конце концов, Бурин оставил ее в покое.

Гуляя один по саду, увидел, что публика побежала куда-то, заинтересовался и пошел за ней. Кто-то дрался. Бурин протиснулся через стену любопытных и увидел здоровенного парня размахивающего кулаками, пытаясь ударить ловко уклоняющего противника. Этот другой имел только левую руку, а вместо правой — только короткую култышку. Бурин узнал безрукого: это был Степка, сын жандармского унтер-офицера Ионова, брата дорожного мастера к которому Бурин с отцом ездил на охоту. Степка извернулся и так хлопнул нападавшего, что тот зашатался. Бурин шагнул вперед, схватил Степку за руку и потянул к себе. Парень нападавший на Степку, при виде Бурина, нырнул в толпу и кинулся бежать, а Степка, не пытаясь вырваться, молча стоял. Бурин потянул его к выходу из сада.

— Куда ты меня тянешь? — спросил Степка.

— Из сада, чтобы опять на тебя кто-нибудь не набросился.

— На меня? — засмеялся Степка. — Они на меня не кинутся!

— Как не кинутся? Кинулся же этот!

— Этот — дурак. Не знал на кого лезет!

Бурин выпустил руку Степки и недоверчиво посмотрел на него.

— Ты не удивляйся! Если бы я захотел, и ты меня не удержал бы. Я, теперь, не Степан, а Абыч! — с горечью сказал Степка.

Отошли от сада, сели на скамейке у забора и Степка, будто оправдываясь, сказал:

— Ну и что ж, что я Абыч? Вот и ты в ГПУ . . .

— Я не в ГПУ, — поняв, что его петлицы и Степку ввели в заблуждение, ответил Бурин, — я пехотный командир.

— Пехотный? — недоверчиво сказал Степка. — А красные петлицы? . .

— Не красные, а малиновые! А у ГПУ — пунцовые!

— Малиновые! Ну, хорошо!

— Ты сказал, что тебя Абычем зовут, а что это такое?

— Что такое? — кличка!

— А кто дал тебе эту кличку?

— Помнишь, когда мы были маленькие, все хорошо было, а как отцов поарестовали, все дыбом пошло. Вот, как моего забрали, остался я с братом. Жрать нечего, вот и стал я из вагонов жратву доставать. Не думай, — не крал! Увижу разгруженный вагон, залезу, глядь, а там по полу зерно рассыпано. Хоть и с грязью смешано — ничего! Подмету, соберу, а дома от грязи очистим и нажремся с братом. Вот раз, стоял я на перроне, поезд товарный ждал. Увидел, что подходит, подсунулся поближе, чтобы в двери лучше заглядывать. Как, вдруг, как рубанет меня по руке! Смотрю, а вместо руки култышка осталась. Из вагона лист железа торчал. Он мне руку и отсек. Так стал я безруким. Пока в больнице лежал — кормили, а вышел — беда! Чуть, было, с братом с голоду не издохли . . . На подаяния жили . . . После брат на работу устроился, легче стало. Да только стыдно мне было на его шее сидеть. Куда не сунусь, нет для безрукого работы! Писать я и левой рукой научился, думал учиться дальше, да куда там! Как узнают, что сын жандарма, все двери закрываются. Зло меня взяло, а тут еще ребята над безруким издеваются, за ничто считают, кто хочет затрещину дает! Вот, стал я левую руку развивать; плавать с одной рукой научился, лучше чем другие с двумя!

Дал один мне, опять, затрещину, так я так его отходил, что ели ноги унес! Ребята с меня смеяться перестали, уважать начали. Одна беда — живу на братухин счет! Братеня, он парень добрый, меня не упрекал, а все — стыдно. Тут я с беспризорными встретился. Ты не думай, они ребята хорошие, дружеские, только судьбой загнанные! Тоже без отцов остались на голодуху. Так вот, встретился я с ними, дружбу завел. Что добудут, — в общий котел, и меня не обделяли. Отчаянные ребята, а с правилами: кого власть обидела, ни в какую не тронут! Не знаю как, а стали они меня, вроде как за атамана считать. Отобрал я братву получше и стали мы дела всякие обделывать, какие — не важно, да только, не думай, своих я не обижал! Вот братва и прозвала меня Абычем. Кто из ребят, что теперь важные, на меня совался, тому я сдачи давал, а раз собрались меня гуртом бить, так моя братва им чуть кости не переломала. С тех пор они меня стороной обходят. А я их, гадов, как поймаю, плавать заставляю.

— Как плавать?

— Да так! Идет такой важный с девчонкой, а мы его встретим, да «дай закурить!» Даст — по роже! Дерьмо трусливое! Не даст — тоже по роже! Набьем, пока смирным станет, заберем, что у него есть, а потом — «ложись и плавай!» Ляжет он перед девчонкой в пыль и руками загребает — плавает. Наплавается — отпустим, да накажем, чтоб жаловаться не ходил, а то кости переломаем.

— Так это ты был, когда меня ребята остановили и тоже курить потребовали?

Абыч засмеялся, посмотрел на Бурина и сказал:

— Да, я был! — и опять засмеялся. — Не знал, что знакомый идет. А ты тогда, признайся, труса спраздновал?

— Не успел. Только после не радовался!

— Почему?

Бурин рассказал, что случилось с Верой и добавил, что уже не горюет.

— Ну и хорошо! — сказал Абыч. — А я тогда и не подумал, что «своим» называть нельзя. Знал бы, не сказал так!

Абыч встал, поглядел на Бурина и сказал:

— Ну, я теперь пойду! А ты, как встретишь меня где, не показывай, что знакомый. И тебе и мне будет лучше. Прощай!

Раньше чем Бурин сообразил что сказать, Абыч шагнул в сторону и темнота поглотила его.

*

Бурина тревожили мысли о его дальнейшей карьере. Работа военрука, хотя она и хорошо оплачивалась, не удовлетворяла его. Ему хотелось стать полноценным человеком, получить специальное образование и он решил, что теперь, когда он стал командиром РККА, это возможно. Долго раздумывал над тем, куда подать заявление. Больше всего его влекла карьера инженера, но, вспоминая о судебных процессах над инженерами, он боялся оказаться «вредителем». Вспоминал рассказ своего приятеля, товарища по школе, который однажды, когда они выехали на велосипедах за город и были совершенно одни, рассказал:

— Вот хотелось мне инженером быть, а теперь стал им и сам не рад. Пришлось мне мост строить, сделал я рассчеты, как полагается, учел все, дал запас на прочность и представил проект начальнику. А этот начальник — выдвиженец. Вызвал он меня и говорит: «Ваш проект хорош, да только вы запаса на прочность слишком много дали. Вы, вот, чуть ли не десятикратную нагрузку предусмотрели, а где такие тяжелые поезда? Я считаю, что полуторакратный запас на прочность хватит!» Как я ни доказывал, что не только вес поезда нужно учитывать, а и толчки, удары, резонанс — не стал слушать. «Все, что вы рассказываете, — говорит, — старые специалисты практиковали, а нам по ним равняться нечего! Нам надо слушать, что говорит партия!» Вот и пришлось мне мост построить с малым запасом на прочность. А теперь все жду, когда он завалится и меня «вредителем» признают. Не жизнь, а сплошной страх!

В конце концов Бурин решил избрать профессию преподавателя математики. «Математика наука точ-

ная, — рассуждал он, — дважды два — четыре, справедливо всегда, и при белых, и при красных. И политики в математике нет, значит, и придраться к математику трудно». Подал заявление в пединститут и ждал вызова на экзамены.

Наконец вызов пришел и Бурин, в назначенный день, приехал в Ростов. Институт находился на Садовой, переименованной в улицу им. Энгельса. Идя по улице, Бурин увидел идущего ему навстречу военного в форме ГПУ. Пригляделся и ахнул: военный был Сагайдак. Только теперь у него на петлицах были не кубики комвзвода, а шпалы старшего командира. Бурин вспомнил арест Стукана, вспомнил, как Сагайдак перед арестом Стукана говорил с ним в курилке и понял, что именно Сагайдак тогда был предателем. Омерзение и страх охватили Бурина, он перебежал на другую сторону улицы и только когда Сагайдак прошел мимо, вздохнул свободно. Опять вернулся на ту сторону, где должен был быть институт, глядел на номера домов и, когда думал, что находится уже у самого института, увидел большое здание и ходивших вдоль его фасада часовых в форме ГПУ: оказалось, что краевое ГПУ находилось рядом с институтом.

«Вот тут, за этим фасадом, командуют такие, как Сагайдак, предатели, а где-то в подвалах сидят их жертвы. Может быть и Стукан, и Переверзев сидели тут? — подумал Бурин. — Тут находится то, чего все боятся. Боятся и беспартийные и партийные, и виновные и невиновные. Тут ужас и безнадежность! И это рядом с институтом, местом обучения молодых студентов, будущих воспитателей нового поколения!»

В канцелярии института Бурин получил направление в общежитие, узнал в какие дни и где будут экзамены и пошел осматривать институт. Подойдя к окнам, выходившим, по его расчету, во двор ГПУ, Бурин увидел, что прямо против них возвышается сплошная кирпичная стена, загораживающая этот двор. «Вот так и нас всех отделяет стена, только незримая, от власти, — подумал Бурин, — с одной стороны ее мы — «свободные граждане», а с другой — они, которые де-

лают с нами, что им захочется! И нет никакой возможности разрушить эту стену, пока она сама не упадет. А упадет ли она? Конечно упадет! Ничто на свете не вечно, не вечна и эта стена. Только когда он упадет? Сколько слез прольется до этого? Сколько мучений принесет еще она? Может быть и мне придется попасть за нее, за эту зримую стену, и узнать, что за ней. Ходи и ходи, как по канату! Может быть все это и нужно. Нужна и зримая, и незримая стена, чтобы перевоспитать людей, чтобы их, упирающихся, загнать в рай. Только палкой в рай загонять нельзя! Что сделала Великая инквизиция с Христовым учением? Тоже загоняла палкой в рай! Мучила и жгла невинных людей, а что получилось? К раю она нас не приблизила! Только осталась в памяти, как концентрация зла и непримиримости. «Пепел . . . стучится мне в сердце!» сказал, кажется, Уленшпигель. А будет ли стучаться в сердце пепел замученных за этой стеной? Конечно, будет! Будет стучать, даже если там мучат во имя светлого будущего! Да могут ли такие, как Сагайдак, мучить во имя этого? Вряд ли! Они мучат других во имя собственного благополучия. Те, которые мучили во имя идеи, стали такими, как Рындин — больными с издерганными нервами, в сердце которых уже и сейчас стучит пепел замученных. А в сердце таких, как Сагайдак, пепел замученных ими не стучит. Их сердца каменные! Но и они, наверное, боятся. Мы боимся только их, а они — и нас, и своей же мясорубки. Они тоже ходят по канату и, чтобы не сорваться, угнетают нас. Страшная государственная машина! А я? Я, ведь, тоже винтик ее. Коман-дир РККА! Командир той силы, которая с оружием в руках должна защищать это страшное государство, а вместе с ним и эту мясорубку, что скрывается за стеной! Отец говорил, что не корпус жандармов плох, а — люди, что в нем. Может быть и о ГПУ можно то же сказать? Но я, во всяком случае, в ГПУ не пошел бы! Значит, чтобы иметь достаточный кадр карателей, власть должна набирать работников ГПУ из таких, как Сагайдак, предателей, способных предать родного отца из-за своей выгоды. Как и во всем в жизни — заколдованный круг!»

Прошли напряженные дни экзаменов, Бурин ждал, когда будут вывешены списки принятых. Он надеялся, что его, в этот раз, не вычеркнут из списка, но твердой уверенности не было. Когда узнал, что списки вывешены, не решался идти смотреть. Думал, что, может быть, опять увидит толстую красную черту, закрывающую его фамилию. Но пойти было нужно, нужно было узнать, и Бурин пошел. В первом же листе нашел свою фамилию.

«Приняли! приняли! — ликовал он. — Значит, я уже, действительно, полноправный человек. Значит, «прошлое» уже не висит на мне, как ярлык второсортности!»

Но, все-таки, на другой день Бурин со страхом подошел к списку, ожидая появления красной черты на месте его фамилии. Посмотрел и успокоился — черты не было.

Начиналась, как думал Бурин, новая, полноценная жизнь.